

**СИН
ТАК
СИС**



6

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

6

ПАРИЖ

1980

Журнал редактируют :

М. РОЗАНОВА

А. СИНЯВСКИЙ

The League of Supporters : Ю. Вишневская,
И. Голомшток, А. Есенин-Вольпин, Ю. Меклер,
М. Окутюрье, А. Пятигорский, Е. Эткинд

Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции

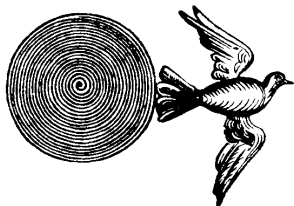
© SYNTAXIS 1980

Адрес редакции :

8, rue Boris Vilde
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE

Нынешний номер «Синтаксиса» открывается публикациями двух авторов, живущих в России, – Раисы Лерт и Григория Померанца. Оба они принимают участие в самиздатском журнале «Поиски», который подвергается сейчас жестоким преследованиям.

Между тем, остановить процесс интеллектуальных, творческих и духовных исканий в России уже невозможно. Сила и значение исканий, представляется, не в создании какой-то единой, авторитетной доктрины, не в выработке раз и навсегда принятой "платформы" (такое уже бывало в русской истории и к добру не привело), но в развитии свободной мысли как таковой, которая в определенной степени самоценна, которая потому и свободна, что следует разными путями, опираясь на многообразный и противоречивый человеческий опыт. В свое время Лев Шестов сказал: «Думать, настоящим образом думать человек начинает только тогда, когда он убеждается, что ему нечего делать...» Имеется в виду не праздность, не отсутствие дела, а безвыходность положения, в которое попадает человек, а иногда и большая историческая эпоха. Слишком долго российские умы и руки были заняты "деянием", которое стоило большой крови и завело в тупик. Настало, по-видимому, время поисков, время "не делать, а думать" и "пафос деяний", не дававший покоя стольким поколениям, по возможности компенсировать широким и спокойным раздумьем над тем, что происходит, над историей, над "мировыми загадками", над проблемами культуры и другими предметами живой, разветвленной мысли...



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Раиса Лерт

ПОЗДНИЙ ОПЫТ

Да, очень поздний. К счастью? К сожалению?

Прожить семьдесят три года, пройти — ребенком — через бури гражданской войны, через тринадцать раз сменявшиеся в моем родном Киеве власти, через немецкую оккупацию 1918 года, через деникинский погром, через бесчинства петлюровцев, через короткое комсомольское подполье во время захвата Киева белополяками... Потом, в юности и зрелости пережить преследование и разгром внутривластных оппозиций (о преследовании и разгроме других социалистических партий я тогда не думала), пережить массовый террор 1935-1939 годов, когда я потеряла столько близких, пережить бурный взлет антисемитизма 40-50-х годов, уже приближавшийся — вот-вот! — к своей кульминации... Пережить все это — и все, что было потом (постепенное освобождение собственной мысли: сначала «оттепель» и связанные с ней иллюзии, потом «Новый мир» Твардовского, дело Синявского-Даниэля, чтение Самиздата, оккупация Чехословакии)... И, наконец, собственные статьи, впервые написанные без «внутреннего редактора»...

Это все схема, пунктир. Но все это прожито, продумано, прочувствовано.

...А вот обыска у меня до сих пор не было. До семи-

десяти трех лет. До 25 января 1979 года. И даже не случилось мне ни разу попадать к моим друзьям, когда у них «шмонали» все — от стенограммы партийных съездов до любовных писем. Рассказов слышала много, читала того больше, но — должна признаться — ничто не заменяет личного опыта. Прав был Гете: теория сера по сравнению с вечно-зеленым деревом жизни...

И как бы для того, чтобы перед концом моего жизненного пути дать мне подтверждение этого философско-поэтического тезиса, в моей передней прозвенел звонок...

.....

... Ничто не может заменить личного опыта. Это верно, но верно и то, что пережитый опыт уже не повторяется. Нельзя, утверждал еще древний философ, дважды вступить в одну и ту же реку: и ты другой, и река — другая, и другие кругом берега.

... Меня уже исключали однажды из партии — сорок с лишним лет назад, в эпоху «бдительности», наступившей после убийства Кирова. И не было для меня — тогдашней, тридцатилетней — периода в моей жизни более тяжелого, чем эти полгода отлучения, горя более глубокого, чем ощущение недоверия ко мне моей партии. Даже личные обиды (а они были велики) блекли и меркли перед этим сознанием отчужденности, вытолкнутости, остракизма...

И вот прошло больше сорока лет. Сижу в своей обыкновенной квартире, перед опустошенными ящиками и — думаю. Вот я исключена из партии, в которой я пробыла 53 года и пять дней (с 16 марта 1926 года по 21 марта 1979 года), из партии, в которую вступила честно и восторженно, которой отдавала весь жар души, все силы и помыслы. Ищу в себе отзвук той, прежней, более чем сорокалетней давности, боли...

Нет, не нахожу. Нет боли. Нет, правда, и радости. Нечему соболезновать, но не с чем и поздравлять. Соболез-

новать — чему? Я не горюю — и никаких претензий к бюро горкома у меня нет. Нарушения уставного порядка — пустяки по сравнению с тем, что мои духовные связи с *этой* партией отмерли давно: они отмирали постепенно, по мере того, как перерождалась и умирала сама партия.

Я не собираюсь, как иные, оправдываться в своей былой партийности. Коммунистом я стала не случайно, сама, по доброй воле и по убеждению, никто меня не уговаривал и никто на меня не давил. В партию я вступила радостно, готовая на любые жертвы и тяготы. Но — не в *эту* партию. *Той* давно нет в живых, а звание члена *этой* партии я давно не считаю высоким. И с членством в *этой* партии мои взгляды действительно несовместимы, — что правда, то правда.

Тогда почему нет радости? Почему не с чем поздравлять?

Потому что — поздно. Поздно — и не по моей инициативе. Решение принято и осуществлено не мною, а *ими* — тогда, когда они нашли это удобным.

Почему я не отправила свой партбилет в ЦК, как Алексей Костерин, еще в 1968 году, после оккупации Чехословакии? Ведь мне уже тогда все было ясно...

Ищу в себе ответа на этот вопрос, хочу докопаться «до самой сути». Страх? Может быть, и страх: не буду пытаться выглядеть лучше, чем я есть. Но, мне помнится, главным было что-то другое, что я не могу назвать иным словом, чем *тоска*. Память о былой общности еще была жива, еще ныла и болела, хотя самой общности уже давно не было — так болят не существующие уже пальцы ампутированной руки. Общности уже не было — ни идейной, ни эмоциональной. Я знала: пусть провозгласят свободу мысли и политических объединений — и люди, сидящие со мной на собрании, разбегутся не меньше, чем по пяти партиям. А большинство вообще ни в какую партию не пойдет, а пойдет домой — сыты по горло. Но фантом, миф, иллюзия держали мою руку, мешали ей обрубить канат и полететь — в пустоту, в одиночество.

И что уж совсем правда: я очень боялась публичного аутодафе. Почти физически я заранее ощущала, как буду стоять под ливнем грязи. И заранее содрогалась (вероятно, я ошибалась: скрыли бы, как скрыли сейчас). И, подсознательно избегая мучительной процедуры, ухватилась за советы трезвых друзей: не надо-де, оставаясь в партии, ты сумеешь сделать больше. Вечные иллюзии трезвых, вечные оправдания нравственных уступок!

Так или иначе — я этого не сделала. Так с чем же меня сейчас поздравлять? С тем, что они решили за меня? С формальным завершением того краха всей жизни, который наступил давно?

... Река — другая, и берега ее — другие, и несет ее течение совсем не к той цели, к которой я стремилась.



Может быть, то, что я пишу, никому и не нужно. Опыт каждой жизни неповторим, моя подходит к концу, а молодые плывут уже в другой реке, у них свои проблемы, свои преграды, свои подводные камни и буруны. И все же я смотрю на них не только с надеждой, но и со страхом. Страхом — за них. Да, они избавлены от тех шор, которые носила большую часть жизни я, от той ограниченности и фанатизма, которые были свойственны мне, как и многим моим сверстникам. Но не заменяют ли они их другими? Просто меняют плюс на минус, кумиры на кумиры? Понимание прошлого подменяют его огульным размашистым отрицанием — как в свое время делали и мы. Помнится, мы уверенно говорили: «Ну, кто теперь верит в Бога? Одни старики и старушки!» И никто из нас ни Библию, ни Евангелие даже в руки не брал. Не похоже ли это на нынешнее уверенное невежество: «Ну, кто теперь всерьез принимает марксизм?» А сами Маркса даже не перечитывали.

Прошло полвека — все изменилось. Что произошло — новый пророк с неба спустился? Нет, просто чаяния и надежды людей не оправдались. А чаяния были светлыми,

надежды — огромными. «За горами горя» нам виделся «солнечный край непочатый». Оказалось: никакого солнечного края, новое горе — горше горького, новый кнут — хлеще старой нагайки.

Так что же теперь — петь гимны нагайке?

И поют. И в Самиздате, и в Тамиздате все чаще попадают попытки реанимации, нравственной реабилитации позапрошлого. «Солнечный край» рисуется позади, в старой царской России с ее идеалом «православия, самодержавия и народности». И утверждается, что в этом воображаемом раю не было ни нищеты, ни унижения человеческого достоинства, а было сплошное духовное братство и всеобщая любовь. И, значит, не было у революции никаких корней, а просто появились откуда-то демоны-большевики и дьявольским произволением изнасиловали старую добрую Россию. И вот я уже читаю отрывок из некоей современной поэмы — гимн-апологию белой армии, которая сражалась «за Русь и власть, за честь и веру». Что знает автор об этой армии? Вряд ли что-нибудь, кроме литературных реминисценций из «Доктора Живаго». А я своими глазами видела этих «белых ангелов», когда они в 1919 году грабили, убивали и насиловали.

Мне возразят — а противоположная сторона? Кто спорит — на этой стороне было, думаю, не меньше жестокости и зверств (об этом, кстати, и Блок писал, и Короленко, и Бабель, и даже малоизвестный советский писатель Владимир Зазубрин). Но я помню на *этой* стороне и героизм, и самоотверженность, и благородство. Помню мальчиков и девочек, моих сверстников, и постарше, которые «с песней падали под ножом, на высоких кострах горели». Не за власть, не за привилегии, не за комфорт, не за наследственные имения, — за освобождение человечества.

Прошло шесть десятилетий — и пора уже перестать уподобляться тем восьмилетним и десятилетним ребятишкам, которые в 20-х и 30-х годах делили мир на «красных» и «белых», густо зачеркивая «белых». Сегодняшние сорока-пятидесятилетние дяди с детской непосредственностью

продельвают с историей то же самое — только зачеркивают «красных». Среди этих зачеркивателей, руководствующихся по преимуществу принципом «наоборот», — не только историки, перекраивающие историю. Есть среди них и философы, и экономисты, проповедующие, что спасение России придет не от Христа, не от Мессии, не от Маркса и не от правозащитного движения, а от... барыги-спекулянта.

Я думаю, что это — очередной истерический бросок в противоположную сторону, в «наоборот»: от постыдного государственного всевластия над личностью — к идеализации всевластной «хапающей» личности. Есть броски и страшнее — от неосуществившейся идеи братства народов к кровавой идее воинствующего национализма, бродящей сейчас по всему миру и поощряемой в нашей стране.

Гораздо более глубокие корни имеет нынешний поворот многих интеллигентов к религии. Я — давний и необратимый атеист, но и я думаю, что этот поворот — не только реакция на монополию государственно-обязательного атеизма и не менее государственно-обязательного «марксизма», обесмысленного казенными толкователями. Тут и тоска по утраченной духовности, и стремление к свободе и раскованности непосредственного чувства — многое тут есть...

Я не собираюсь здесь заводить спор с верующими: пусть каждый верит в то, во что верит, и любит то, что любит. Но вот среди людей, как бы протестующих против духовного угнетения, против идеологической монополии, зреет и наливается соками течение, требующее просто заменить одну господствующую идеологию другой: монополию «государственного марксизма» — монополией «государственного православия», современный тоталитарный строй — тоталитарностью православной монархии. Если учесть, что это течение сливается и срастается с широко распространяемым и полуофициально поддерживаемым национализмом, — можно представить, какая новая «зияющая высота» открывается перед нами.

Пусть каждый верит в то, во что верит, и любит то,

что любит. Пусть. Но вот именно — каждый. *Этих* — сторонников еще одного варианта духовных «ежовых рукавиц» — я в сторонники не возьму. Как и тех, от кого ушла.

... Эти страницы — не попытка завязать диспут, дать рецепт или, упаси Боже, создать новую «теорию». Это — проверка собственной души, расчет с прошлым, стремление понять настоящее.

... Изменила ли я идеалам моей юности? Нет, — пусть обвиняют меня в этом все партследователи и партруководители, вместе взятые, давно эти идеалы предавшие и продавшие. Я и сейчас не знаю ничего светлее и прекраснее этих неосуществленных (может быть, они и не могли осуществиться? не знаю) идеалов. Я и сейчас считаю, что межнациональное братство благороднее национальной отчужденности и ограниченности, — не говоря уже о ненависти. Что человек не должен быть объектом ничьей эксплуатации. Что демократические права и свободы должны стать уделом всех людей. Это все — идеи социалистические, коммунистические. Я от них не отказывалась, не отказываюсь и не откажусь.

От чего я отказалась — это от монополии на истину, от нетерпимости, от уверенности в собственной непогрешимости. От «единомыслия» и «единогласия», погубивших — я в этом уверена! — те самые идеи, во имя которых я пятьдесят три года назад вступила в партию. «Единомыслия» и «единогласия», давно уже выродившихся в насилие, фарс, насмешку и ложь. Теперь я считаю главным — оставаясь собой, пробиться к другим, к их голосам, к их мыслям. Не анафемы провозглашать и не гимны петь, не снабжать прошлое ни ангельскими нимбами, ни дьявольскими рогами, а попытаться понять его, чтобы пробиться к будущему. Попытаться понять: что произошло? Что произошло с людьми и с их извечной мечтой о «светлом будущем», которое теперь упоминается не иначе, как в иронических кавычках?

Но ведь человеку всегда было свойственно — свойственно и сейчас! — надеяться на светлое будущее без

кавычек. Надеяться — и по мере сил приближать его. Хотя бы искать путей такого приближения.

Как искать? Единственный, хотя и трудный в наших условиях способ поисков — *мысль* и *слово*. Движение мысли, выраженное в слове, которое могут прочесть другие. Закостенелость, законсервированность, остановленность мышления, — вот что губительно. Система, в которой мы живем, настолько замкнуто-тупа, настолько лишена всякого свежего дуновения, проблеска, что встречную мысль надо разыскивать чуть ли не ошупью. Даже встретиться двум мыслям подчас трудно. И мы нащупываем, ищем, срываемся, сходимся, расходимся, теряем нить, хватаемся за другую... Нам мешают, не дают додумать, договорить, понять друг друга, к нам врываются с обысками, хватают наши статьи и письма, вызывают на допросы, угрожают...

Но движение высвобожденной, раскованной мысли неостановимо.

Так начался в шестидесятых годах и мой путь, который закономерно привел меня к обыску и к исключению из партии. Он начался с высвобождения собственной мысли из-под гнета «единомыслия» и со встреч с другими, по-разному мыслящими людьми. Естественно, что на этом пути я встретила и с теми, общение с которыми партследователями и просто следователями сегодня инкриминируется, — с правозащитниками, диссидентами, назовите как хотите.

Я глубоко уважаю этих людей за бесстрашие и самоотверженность, с которыми они борются за права человека, не употребляя никакого оружия, кроме мысли и слова. Я радуюсь тому, что сблизилась с некоторыми из них, и что моя мысль и мое слово (и моя подпись) иногда включаются в их мирный арсенал.

Но я знаю: у меня и здесь вряд ли найдется много единомышленников. По-разному мы оцениваем прошлое, различно прогнозируем будущее. И я знаю: если партследователь требовал, чтобы я покаялась в измене коммунизму, то найдутся и такие, что потребуют от меня раскаяния в верности ему.

Покаяний не будет — ни там, ни здесь. Я ничему не изменяла и никому не собираюсь присягать. Отречения — ни от моего прошлого, ни от моих сегодняшних друзей — от меня никто не дождется.

Да, пересматривать мне есть что, и есть чего стыдиться. Но есть и чем гордиться. Отказываясь содействовать нынешним насильникам, я одновременно отказываюсь признать их наследниками и продолжателями славных поколений русских революционеров. Тех, кто самоотверженно, бесстрашно и бескорыстно защищал права человека *тогда* и протягивает из прошлого руки сегодняшним правозащитникам. Я продолжаю чтить «немодные» социалистические идеи — ныне окровавленные и разодранные на лозунговые тряпки «толстомордыми» из «органов», райкомов (и повыше), пытающимися прикрыть ими свою идейную наготу.

С тем меня и возьмите.

Демократическим ли социализмом, либеральной ли демократией назовете вы или я то общество, к которому мы стремимся, но в этом обществе мысль, слово, личность должны быть свободны. И ни у кого не будет кляпа во рту, и ни у кого государство не станет воровать его дневники, статьи и письма, и никто не пойдет в лагерь за разномыслие с властью или за помощь ближним. Эта цель у нас — общая.

И пусть каждый делает, что может.

Я могу немного: мало осталось времени и сил. И я не берусь ответить на многие жгучие вопросы, на главный из них: почему произошло то, что произошло, и могло ли быть иначе? Пусть ищут ответа ученые. Я — не теоретик, не философ, не историк. Просто старый человек, много повидавший, много думавший и кое-что понявший. Может быть, поздно, но все-таки понявший. И моя более чем семидесятилетняя жизнь совпадает с более чем шестидесятилетней историей моей страны, которую я наблюдала и в которой участвовала. Одна из тех, кому есть что сказать и кто *может* сказать, как это было на самом деле. И постараться сказать «правду, одну только правду, ничего кроме правды!»

Может быть, это и есть мой главный долг?

Апрель 1979 года.

Григорий Померанц

СОН О СПРАВЕДЛИВОМ ВОЗМЕЗДИИ

(Мой затянувшийся спор)

Статья А.И.Солженицына «Образованщина» заново поставила передо мной вопрос о полемических приемах великого писателя, тему, впервые взволновавшую меня еще в 1967 году, при чтении романа «В круге первом».

Я согласен с замечанием Александра Исаевича (в «Теленке»), что 80% так называемой интеллигенции - "образованщина"? Но по сути — не знаю, как считать, по какому принципу исчислять проценты... (Может быть даже не 80, а 90-95...) Настоящие врачи, настоящие учителя, художники, ученые — существуют на задворках чиновничьего общества и в процентном отношении составляют совершенно ничтожную его часть; существуют с мучительными компромиссами, с трудом принося минимальную дань вежливости общественным условностям; но они все-таки существуют. И я думаю, что авторы, писавшие статьи в «Христианский вестник», принадлежат именно к интеллигенции, а не к чиновничеству. Что же до несогласия с некоторыми идеями Александра Исаевича, то разномыслие — не основание для ссылки в образованщину. Во всяком случае — для человека, который отказывается от традиций социал-демократических междоусобиц, пестревших обвинениями в мелкобуржуазной неустойчивости и в *объективном* пособничестве классовому врагу. На глу-

Статья Г Померанца была опубликована в самиздатском журнале "Поиски", №3. Печатается с небольшими сокращениями.

бине глубин истина едина; и даже едина с добром и красотой, и всеми другими ценностями. Но это не значит, что истина может быть однозначно высказана словом; это не значит, что существует только одна оппозиция: Солженицынская Правда – Казенная Ложь, и всякое несогласие с Александром Исаевичем в конечном счете сводится к казенной лжи.

Каков бы ни был в светлом будущем государственный строй России, царство духа – республика; интеллигенция никогда не станет ротой, шагающей в ногу.

Если когда-нибудь воссияет Истина (хотя бы и в той форме, в которой ее исповедует А.И.Солженицын), образованщина, интеллигенция 4-го сорта, ракинщины, – будут кричать «ура!» (они всю дорогу кричат «ура» победителю). А какой-нибудь еретик Карамазов непременно выступит со своим особым мнением и испортит торжество. Такой уж у него скверный характер. Даже один призрак победы заставляет его тревожиться вместе с Абрамом Терцем:

*«Здесь, на этом месте, литературе следует быть насто-
роже и не поддаваться обаянию с чувством, со всей правди-
востью произнесенного слова... Мы оказываемся перед
кровавой дилеммой: с кем вы, мастера культуры? За прав-
ду или за казенную ложь? При такой постановке вопроса
у писателя, понятно, нет выбора и он гордо отвечает: "За
правду!" Но, провозглашая "за правду", нужно помнить,
что сказал Сталин... ("Пишите правду – это и будет соци-
алистический реализм")».*

*Дошло до того, что правды надо бояться. Чтобы она
опять не села нам на шею... В противном случае все обеща-
ющая, освобождающая словесность опять сведется к отчету
о том, как мы мучились и что предлагаем взамен. Све-
дется к вопросам "Что делать?" и "Кто виноват?" И все
пойдет прахом, и начнется все сначала: "освободительное
движение", "натуральная школа", "передвижники" и, как
естественный венец, "партийная организация и партийная
литература"...»**

Солженицын, великолепный полемист, выхватил из

*) Абрам Терц Литературный процесс в России. "Континент", №1.

контекста «Литературного процесса» четыре слова: «Россия — мать, Россия — сука!» — и этими четырьмя словами, как цензорским крестом, перечеркнул все мысли, которые трудно было опровергнуть*. Но я продолжаю спор, и это мой спор за республику идей, против самодержавия правды. Я готов повторить то, что сказал когда-то Нильс Бор: бывают истины ясные и истины глубокие. Ясной истине противостоит ложь, глубокой — другая истина, тоже глубокая. Есть огромная область, где веками противостоят друг другу равно глубокие истины. И как раз эта область — королевский домен интеллигенции. Слишком большая захваченность борьбой за ясные истины сужает почву, на которой могут укорениться истины глубокие. Ты мне ври, да ври по-своему и я тебя поцелую, — говорил на заре русской интеллигенции пьяный Разумихин. Соврать по-своему — это лучше, чем правда по-одному, по-чужому. Правда не уйдет, а жизнь заколотить можно. Примеры были...

ДВЕ ФИЛОСОФИИ ЗЛА

То, что сталкивает меня с Александром Исаевичем, нельзя свести к недоразумениям, к непониманию друг друга. Скорее это разное *понимание* зла, сосредоточенность на разных сторонах зла. Солженицына увлекает задача борьбы с возмужавшим, окрепшим злом. Я смотрю на такое зло глазами Лао-цзы: твердое, крепкое — завтра будет мертвым. Мне страшно другое: младенчество зла, первый поворот добра к злу, первые его робкие, прелестно нетвердые шажки. Розовые пальчики, которые завтра сожмут топор. Сдвиг в душе змееборца, начало остервенения, из которого вырастает новый змей.

Я убежден (вместе с Плотиним и Августином), что в глубине бытия зла просто нет. Есть только цельный, непорочный свет без всякой тени. Но в пространстве и времени нельзя осветить все сразу. Что-то всегда будет в тени. Борьба за добро — значит по возможности поворачи-

*) Хотя, с философской точки зрения, "Россия — сука" — междометие, эмоциональный вскрик, который должно бы вынести за скобки *идейного* спора.

вать вещи к свету. В некоторых случаях можно срубить дерево, которое заслоняет окно, или снести старое здание и т.п. Человек, живущий за глухой стеной, может рассматривать ее как абсолютное зло, и разрушение ее — как безусловное торжество добра. Примерно так Солженицын смотрит на коммунизм: «Вот концентрируется Мировое Зло огромной ненависти и силы. Оно растекается по земле, и надо стать *против* него...» (Речь в Вашингтоне 30 июня 1975 года).

Если Мировое Зло — риторическая фигура, то ладно. Но если концепция, то всякое противодействие абсолютному, мировому злу есть благо. В том числе Гитлер? В том числе резня 1965 года, остановившая распространение коммунизма в Индонезии?

Концепция Мирового Зла предполагает единство зла в синхронном (геополитическом) плане и стабильность в плане диахронном (историческом). Опыт этого не подтверждает. Мао Цзе-дун, Брежнев и Дубчек вовсе не прикидывались, что у них есть разногласия. Они действительно во многом не согласны, и я не думаю, что Прага в январе-августе 1968 года была просто разновидностью Мирового Зла, а ввод в Прагу русских танков — отчасти даже благо, прекратившее явный соблазн и дьявольскую прелесть * .

Пути борьбы со злом неисповедимы. Пламенный диссидент Кастро, в одиночку выступивший против всемогу-

*) В этой связи мне не хочется встречать анафемой первые шаги еврокоммунизма: "вот придут к власти — увидите!" или. "они вам покажут!" Кое-что мы уже видели: Дубчек был у власти; коммунист Пал Малетер, не снимая с груди советских орденов (за войну с Гитлером), сражался с советскими танками. Готовность Берлингуэра воевать под знаменами НАТО — логическое следствие событий 1956 и 1968 гг.; отказ от идеи диктатуры и поворот к плюрализму — итог, подведенный под историей Архипелага Александр Исаевич сыграл роль повивальной бабки, ускорившей рождение нового коммунистического младенца. Теперь ребенок растет, развивается и кричит то, что в его возрасте положено. Сумеют ли еврокоммунисты сохранить объявленную верность правам личности, когда станут постарше? Не знаю; думаю, что разные коммунисты могут вести себя по-разному, и то, что справедливо для Берлингуэра, не обязательно верно для Марше. Хочется наметить две перспективы:

1) Если нынешний кризис Запада — не агония, а очередная линька, то европейское рано или поздно возьмет перевес над ком-

шего диктатора, сам стал диктатором. Его товарищ, Че Гевара, предпочел умереть. Брам Фишер порвал со своим народом и вступил в компартию, потому что только она практически нарушала апартеид. Выбор был сделан без теории, одним сердцем. Для Фишера было важно, *против чего* коммунисты, и не где-то, а в его родной стране. Остальное было приложением к этому *против*. Фишер был осужден на пожизненное заключение и умер мучеником идеи, совпавшей (в это время и в этом месте) с нравственным порывом его нетерпеливого сердца.

Я не думаю, что все коммунисты на одно лицо. Я не думаю, что по двум-трем общемировым стандартам можно отличить зло от добра. Мировое Зло предполагает Мировое Добро, но где оно? В Штатах? Судя по вашингтонской речи — да, судя по «Письму вождям» — нет. Страстный полемист, Александр Исаевич в каждом случае говорит и пишет то, что убедит сегодняшнего собеседника. Не знаю, аплодировали вожди его диатрибам или нет, профсоюзники дифирамбам Западу похлопали. Как же все-таки обстоит дело с истиной, которая никому не хочет понравиться? Которая никого не хочет завоевать?

Мне кажется, что по-настоящему, без соображений минуты, Александру Исаевичу нравится скорее Испания. Если углубиться в проблемы России до забвения всех остальных, понять это можно. Крутой переход к «неограниченному плюрализму», как ученые называют западный образ жизни, связан со слишком большим риском хаоса. Авторитарный режим, допускающий свободу «по возможности», плох с точки зрения старого русского либерала, но

мунистическим, и западные элементы будут усвоены, переварены, вестернизированы (как уже не раз случилось со светом, идущим с Востока). Тогда перемены должны коснуться не только программы, но и устава; "партия нового типа", созданная Лениным для диктатуры, уступит место мартовской, без дисциплины монашеского ордена, с широчайшими правами на независимое мнение.

2) Если же Шпенглер и другие пророки упадка Запада правы, то подгнившее дерево падет, и скорее всего — не от одного Зла, а от множества зол и конфликта противоположных лекарств, как это уже было в схватках пангерманизма с панславизмом, антикоммунизма Гитлера с антифашизмом Сталина — и может быть завтра — в столкновении новых левых с новыми правыми

очень хорош для нынешнего русского либерала (публика премьеры хлопала герою пьесы Н.Коржавина «Однажды в двадцатом», заговорившему о достоинствах просвещенного абсолютизма).

Правда, из этого не следует, что в Испании не было никакой диктатуры, что полмиллиона жертв гражданской войны — пустяки и тому подобные крайности, до которых Солженицын договорился в своем Испанском интервью. Франко, сравнительно с Гитлером или Сталиным, почти гуманист, но зачем испанцам сравнивать себя с русскими или немцами? Почему бы им не сравнивать себя с французами?

Мне кажется, можно понять и Александра Исаевича, и испанских либералов, возмущенных его словами (в Испании, для испанских ушей прозвучавшими чудовищно и бестактно). Режим Франко показал способность к смягчению, но мягким его нельзя назвать. Что касается 30-х годов, когда мы с Солженицыным вместе ненавидели Франко, то для этого были серьезные основания. Победа Франко в 1939 году была победой мирового фашизма, т.е. одной из разновидностей зла, остервенения. И вот здесь для меня возникает вопрос, который, вероятно, покажется Александру Исаевичу нелепым: если возможна эволюция от раннего, агрессивного франкизма к сравнительно мягкой, «бархатной» диктатуре позднего Франко, то, (кто знает!) возможен и бархатный коммунизм? Тут в меня летят мысленные груды тухлых яиц. Очень многие неофиты православия выходят из себя, как только речь заходит о чешской весне. Им как-то лично, небескорыстно хочется, чтобы она *необходимо* увяла. Видимо, марксизм или коммунизм грубо отождествляется с антихристом, и всякая мысль об эволюции коммунистического режима к лучшему рассматривается как недопустимый скандал. Между тем, Римская империя (вавилонская блудница Апокалипсиса) не развалилась от того, что люди прочли Евангелие, а слилась с христианством (или, по крайней мере, с христианской церковью). С точки зрения «Письма вождям», сосуществование православия с некоторыми политическими традициями большевизма (в данном случае признаваемыми русскими) вполне возможно. Но если мыслим православный большевизм (сапоги всмятку), то, может быть, где-нибудь, при другом

климате, мыслим и либеральный коммунизм? Согласен, опять сапоги всмятку, или вкрутую, чушь, чепуха. Но мало ли какая чепуха получается на свете. Я не знаю, возможно ли это, но мне бы это понравилось.

Я ничего не утверждаю на будущее. Я только соглашаюсь с Александром Исаевичем, что «разделительная линия» между добром и злом *«пересекает нации, пересекает партии»* — и не соглашаюсь с другим утверждением на той же странице той же статьи: *«раскаившиеся политические партии мы так же часто встречаем в истории, как тигро-голубей... Партии — видимо, вполне бесчеловечные образования, сама цель их существования запрещает им каяться»* («Из-под глыб», стр.118). Мне кажется, что чешские коммунисты в 1968 году были охвачены духом покаяния более полно, более единодушно, чем западные немцы; и это тем более ценно, что произошло до оккупации.

Где-то в большом, сложном, запутанном мире коммунисты так же вдохновляются борьбой со злом, как антикоммунисты. И антикоммунисты так же стервенеют, так же сатанеют от своего антикоммунизма, как коммунисты — от своего антиимпериализма, антифашизма и т.п. И нельзя преодолеть зло, не избавившись от всех *анти*, от *захлеба* борьбы. "Антипалач" несет в себе заряд остервенения, который завтра породит нового палача. Нужно не "анти", нужно "а", т.е. "не" (ненасилие, недвойственность; с "не" начинаются многие превосходные идеи, с "анти" — ни одной; "анти" — слово техническое: антибиотики, антифриз — средство против узко определенного зла. Антибиотики в организме оказались небезопасны. В царстве духа *анти* вовсе не подходит).

На дне бытия зла нет. Есть разные виды добра, сталкивающиеся и уравновешивающие друг друга. Откуда же берется зло, в котором тонет мир? От остервенения в борьбе за свое частное добро *. Американская революция обошлась без остервенения, и слово "революция" на языке

*) Мне приходила в голову мысль, что сама сущность антихриста — в упоре на "анти"; Христос не был антииудаистом; церковь стала антииудаистичной, а потом еще антиправославной (или антикатолической), антипротестантской и т.д. Христос не был антилибералом; церковь стала антилиберальной и веками противилась освобо-

американцев — хорошее слово. Когда Стравинский поселился в Штатах, его назвали музыкальным революционером. Стравинский очень обиделся. В его сознании — сознании русского эмигранта — революция пахла трупным смрадом.

В пароксизме борьбы зло становится мнимо всемогущим, и возникает тот дьявольский пафос, который орвелловский О'Брайен объясняет своей жертве в Министерстве Любви:

«Власть не средство, она цель. Не диктатуры создаются для защиты революции, а наоборот, революции создаются для установления диктатуры. Цель гонений — гонения. Цель пыток — пытки. Цель власти — власть...»

Кажется, Галина Серебрякова рассказывала, как Сталин, Орджоникидзе и несколько других тогдашних деятелей рассуждали, в чем счастье. Орджоникидзе сказал — строить социализм! Сталин выслушал, покачал головой и ответил: нет, — иметь врага, уничтожить его, — и потом выпить бутылочку хорошего вина!

Торжествующая бесовщина не может длиться вечно. Или движение стряхивает ее с себя, или раскалывается на группы смердяковых, пожирающих друг друга. Тотальное торжество зла означало бы просто гибель человечества; а то, что в нас вечно, — не умрет. Чего же нам бояться? Зачем (у страха глаза велики) рисовать грандиозный образ мирового зла? Зачем терять чувство справедливости к тем, кто сегодня — наши противники? Они тоже начинали с борьбы за добро. И мы, начав с борьбы за добро, можем — как и они — прийти к злу.

Этот триумф кажется парадоксом: все старые большевики прошли школу *социал-демократии*. Партийная интеллигенция привыкла к *социал-демократическим* традициям и не совсем еще втянулась в *партию нового типа*, которую строила. Резолюция о запрете партий и фракций придала интеллигентские традиции. И все же, пока старые большевики не были истреблены, пока их не сменили кад-

дательному движению. Воздвигнув против себя антирелигиозный коммунизм, она получила сомнительное основание стать антикоммунистической (или антифашистской, антиимпериалистической и т. д., как в своем подкомитетском существовании)

ры, пришедшие на готовое, над ЦК и ЧК клубился дух демократии. Этот дух мог победить плоть диктатуры, инерцию аппарата насилия. В Чехии, в январе-августе 1968 г., так и случилось. Не только в селах живут праведники, они и в ЦК могут объявиться. Решает дух страны и дух времени — иногда соединяющиеся и действующие совместно (тогда они всемогущи), иногда разделенные и уступающие инерции плоти, инерции учреждений.

Почему в России победил марксизм? И почему в России не победили демократические тенденции марксизма? Почему затейки верховников (добивавшихся от Анны Иоанновны конституции) на Руси не удавались, а опричнина удавалась на славу? Я много думал об этом, довольно много писал, и все-таки, если мне предложат коротко и ясно сказать, почему? — я откажусь от ответа. Знаю одно: гибель большевиков, расстрелянных большевиков, не вызывает у меня злорадства. Сажали и стреляли в первую голову тех, у кого было собственное мнение, кто после смерти Сталина мог ненароком сыграть роль Дубчека. Я не думаю, что смертники, шедшие на расстрел с криком «Да здравствует Сталин!», умирали комически...

И в нынешнем мире добро и зло не так просто разделились, как в уме Александра Исаевича.

Мир в целом болен. В одних государствах болезнь загнана внутрь; снаружи они монолитны. В других — свобода, и болезни свободно вырываются на волю. Так их легче распознать и лечить. Но лечение — дело долгое, и еще неизвестно, чем кончится. А пока что сталкиваются два борца с поврежденными позвоночниками, и тот, который в корсете, имеет больше шансов на выигрыш.

Политика — это искусство возможного, а не глубинно необходимого. В мире видимостей, где совершаются политические события, видимая монолитность — реальное преимущество. Особенно, когда дело доходит до войны. Демократические Афины проигрывали авторитарной Спарте не потому, что демократия Афин была плоха (лучшей греки не создали), а Рим удержался только потому, что создал институт диктатуры (в первоначальном смысле этого слова, т.е. временных чрезвычайных полномочий). И США динамичнее других стран во внешней политике потому, что

их конституция сочетает диктатуру президента с демократией Конгресса и Верховного суда...

Александр Исаевич недоумевает, зачем западные страны вступили в союз со Сталиным против Гитлера. Неужто сами не справились бы?

Этот урок истории, мне кажется, стоит продумать. Гитлер долгое время казался самым надежным защитником от Мирового Зла, и ему на эту деятельность были выданы авансы (Австрия, Чехословакия). Но лекарство вышло хуже самой болезни; и пришлось Западу вступать в союз с тем же Злом, против которого Гитлер обещался защищать, и, разгромив Гитлера, многократно усилить Сталина. Примерно так поздний императорский Рим вступал в союз с готами против гуннов. Не от хорошей жизни, конечно...

Мой великий оппонент хотел бы Мирового Добра в образе жандарма, в любую минуту готового пресечь Мировое Зло. Это очень популярный образ доброго правления; но Франция уступила Алжиру и Штаты – Северному Вьетнаму, хотя имели техническую возможность раздавить своего противника. Надо было лишь внутренне перестроиться, встать на позиции пролетарского гуманизма (если враг не сдается, его уничтожают). Запад на это оказался неспособен.

Что же делать? – спросит меня читатель. Не знаю. Может быть, выхода и вовсе нет. То, что предлагает Александр Исаевич министрам Запада и (несколько раньше) вождям Советского Союза – только иллюзия выхода.

Есть эпохи, благоприятные для добродетелей Сцеволы и Сципиона. Есть другие, когда легче всего объяснить, почему град земной обречен. Вряд ли решительные меры могут здесь что-то изменить, разве ускорить развязку. Единственный путь спасения, который я вижу, – это внутренний поворот каждого отдельного человека к свету. Пока мы не переменились, не переменится и общество. Беспощадная война со злом воспитывает жестокость и вскармливает новое зло.

Наше поколение пережило несколько попыток *окончательной* ликвидации зла, и все они привели к новому, большему злу. Это не могло не оставить глубокий, неиз-

гладимый след, по крайней мере, в некоторых умах. Я встретил, как свои собственные, мысли Т.С.Элиота:

«Счастлив тот, кто в нужную минуту повстречал подходящего друга. Счастлив и тот, кому в нужную минуту повстречался подходящий враг. Я не одобряю уничтожения врагов: политика уничтожения, или, как варварски выражаются, ликвидации врагов — одно из наиболее тревожащих нас порождений современной войны и мира...»*

Можно сказать, что врагов вообще нет, что это ложное понятие, созданное ложно направленным умом (буддийская точка зрения); или иначе, другим языком: «любите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас...» Но только немногие повторяют эти слова не одними устами. И совсем, совсем немногие действительно чувствуют так каждый день и час. Манихейское смешение частного зла с Мировым Злом по-прежнему царит на Земле. По-прежнему справедливость мыслится как зло за зло, око за око, зуб за зуб. Выход за рамки реактивного мышления был бы концом истории, началом какого-то совершенно нового общественного бытия, или даже нового космического бытия — как в «Сне смешного человека». Сегодня мы не дошли до этого, и потому точка зрения Александра Исаевича имеет достоинства, неотделимые от ее недостатков: она в ладу со временем и вдохновляет на великие исторические подвиги. Напротив, моя точка зрения ставит вне исторического процесса. Она делает подозрительным к богатырям и заставляет предсказывать, что Геракл перепьется и постреляет собственных детей, что П.Якир и В.Красин доступны растлению ничуть не меньше, чем герои революции...

Вступив в полемику, я мучительно сознаю опасность собственного красноречия (оно не раз уже толкало людей совсем не туда, куда мне хотелось). Я вспоминаю Тютчева: мысль изреченная есть ложь... И голос мой от этого пресекается. У меня нет уверенности, что каждое мое слово служит Добру. И я прошу читателя возвращаться от частных суждений к целому, от буквы к духу, против которого не дай мне Бог согрешить.

*) Т.С.Элиот. Заметки к определению понятия культуры.



Самые мучительные моральные трудности начинаются тогда, когда заповеди сталкиваются. Например, не лгать — и не жить на чужой счет; не лгать — и не бросать своих друзей, стихию своего языка. Марина Цветаева уехала и мучилась в Париже. Анна Ахматова не уехала и мучилась в Ленинграде... Писать все-таки можно дома. Поэту — даже не писать, а слагать наизусть... Но что делать, если у вас другое призвание? Если вы учитель, артист, режиссер, врач, наконец? Не допускать никаких компромиссов — значит советовать врачу уходить из больницы, учительнице — из школы, в которой вся ее жизнь. Я знаю одну такую. Она ушла — на пятидесятирублевую пенсию; по возрасту — еще работать надо, но не в деньгах дело, а в утрате призвания, смысла жизни. Это не жизнь не по лжи, это смерть не по лжи, или, по крайней мере, прыжок через смерть (смерть призвания). Устала от эквилибристики между тем, что велют, и что делалось по внутренней необходимости. Можно оплакивать ее уход (дети были в отчаянии), но советовать?

Я знаю молодого человека, *физически* неспособного сдавать основы марксизма; он бросил институт. Ничего хорошего из этого не вышло. Можно понять его поступок, но советскую власть он не огорчил. Она как раз стремится к тому же: как можно меньше детей с традициями интеллигентского свободомыслия пропускать наверх, в науку.

Я понимаю, что отдельные люди могут выбрать мученический венец диссидента. Если такой выбор не поза, не азарт, а непреодолимая внутренняя потребность, то он оправдан, как всякий личный выбор. Мальва Ланда так же проста, естественна и обаятельна в своей защите прав человека, как Песталоцци со своими учениками. Но у разных людей — разные призвания. В «Теленке» Солженицын с подкупающей искренностью описывает, как давил непосредственный нравственный порыв ради своего призвания, ради дела всей своей жизни. Я его прекрасно понимаю. Но как же быть с однозначными правилами жизни не по лжи?

В 1962 - 1963 гг. Солженицын молчал, когда Хрущев грубил писателям и художникам. Он сохранил свою

позицию для более серьезной схватки. И снова я оправдываю Александра Исаевича. Но он неправ, когда видит сегодня только одну причину сдержанного поведения: трусость.

«100 лет назад, — пишет Солженицын, — у русских интеллигентов считалось жертвой пойти на смертную казнь. Сейчас представляется жертвой — рискнуть получить административное взыскание. И по приниженности запуганных характеров это не легче, действительно.»

Даже при самых благоприятных обстоятельствах (одновременная множественность жертвенного порыва) придется потерять не музейную икру, как предупреждает Померанц, не апельсины, но — сливочное масло, торгоя котрым так налажена в научных центрах» («Из-под глыб», стр. 254).

Александр Исаевич сам захвачен своими призывами. Он верит, что если бы жертва Яна Палаха «была не одиночной — она бы сдвинула Чехословакию» (стр. 258). С этим можно не согласиться *. Но дело не в том, что я думаю. Я готов быть неправым. Я, пожалуй, даже хотел бы победы моего оппонента. Если он ошибается, то это благородная ошибка, и в ней всегда есть доля истины.

Меня тревожит, заставляет взяться за перо другое. Не ошибка интеллекта (мы все ошибаемся), а некоторый нравственный порок, пристроившийся к благородному порыву: нежелание понять возможность нравственного пафоса, отличного от своего собственного.



Кажется, в жизни часто бывают положения, когда действовать — грех, и не действовать — тоже грех; иногда я действовал и принимал на себя грех действия, а иногда бездействовал и принимал грех бездействия. Незначительные масштабы событий не опьяняли, и время от времени возникало чувство, что все эти грехи, словно жернова, висят на моей шее. К сожалению, в большой истории гораздо

*) Второго студента, сжегшего себя, никто не помнит. Винить ли забывчивость, суетность публики? Или здесь сказался какой-то нравственный инстинкт, подсказавший, что нехорошо превращать личный подвиг в массовый обряд, наподобие самосожжения индийских вдов и буддийских монахов?

легче запутаться. Масштабы так велики, что жернов превращается в пьедестал, и герой, встав на него, заживо бронзовеет. И тогда уже он не сознает, что благими намерениями вымощен ад.

Если бы Александр Исаевич увидел вдруг все эти опасности, он наверное замолчал бы, а потом стал писать иначе, другое. И может быть написал бы Исповедь человека, поднявшего меч. Это была бы замечательная книга...

Я не толстовец. На фронте мне приходилось удерживать бегущих солдат, стреляя в воздух. Будь паника серьезней, кто знает, что пришлось бы делать. От греха не уйдешь. И не грех мне страшен, а непонимание греха, однозначная оценка действия как хорошего (или дурного) поступка.

Какие-то североамериканские индейцы, убив врага на войне, (т.е. совершив подвиг), потом несколько недель жили в лесу, проходя очистительные обряды, прежде чем обычай позволял им вернуться к своим родичам. Цивилизованные рационалисты этого не понимают. Все для них или хорошо (и только хорошо), или дурно (и только дурно); третьего не дано...

Если бы Александр Исаевич смог вдруг увидеть, хотя бы в самых общих чертах, то, что он делает! Но это, по-видимому, все равно, что дать Арджуне глаз Кришны (герой Махабхараты и минуты не выдержал). Ум деятеля так устроен, что видит одновременно только одну идею, и ее он страстно осуществляет или высказывает, а потом поворачивается всем корпусом в другую сторону и с такой же страстью высказывает другую идею.

Интуиция писателя подхватывает самые различные волны сдавленного, невысказанного чувства — и каждую высказывает с безудержной страстью. В «Архипелаге» Александр Исаевич сам обнажает древнерусские и фольклорные истоки нашей системы, а в «Образованщине» и «Раскаянии» предаёт отлучению и проклятию тех, кто это делает (Горского, например). В «Архипелаге» он пораженец, в «Августе» — оборонец... И каждый раз с «пенной на губах», до совершенной невозможности понять нравственный смысл противоположной идеи, противоположной волны. Я не о противоречивости говорю (никакая личность не укладывается в логику), а о неспособности ума охватить

собственную личность как неслиянное и нераздельное единство этих противоречий.

В таком устройстве сознания, очень простом и близком подавляющему большинству, есть своя сила. Анатолий Франс отметил ее в Наполеоне, надолго остававшемся общим кумиром. Все слова, корчившиеся на безъязыкой улице, все проклятья, срывавшиеся с языка в трюме корабля, плывущего к Магадану, все крики, замерзшие в Сибири, оттаяли в Солженицыне и вырвались наружу. Эти крики противоречат друг другу, — но пусть. И то, что Александр Исаевич — слишком прямолинейный мыслитель — не важно. Важно, что у него подсознание медиума. «Архипелаг», со всеми своими, не сведенными в целое, непримиренными взрывами страсти, перевешивает грехи солженицынской публицистики. Читатель чувствует выстреленным свой собственный заряд — и так этим захвачен, что не обращает внимания на другие заряды, выпаленные в него самого; или, если замечает, то машет рукой: не это главное. (Главное для каждого — его собственная боль).

Мне кажется, что очистительное нравственное влияние Солженицына основано на этом же: на общедоступности его. Будь он другим, его влияние было бы меньшим. Пастернак, например, никогда не смог бы сыграть солженицынской роли. Александр Исаевич — *doctor communis*. Если бы его арестовали и осудили (а не выслали), он немедленно превратился бы в общенародный символ... Высланный, он имеет возможности писать и говорить вещи, которые многих от него оторвут. Но я не думаю, что глыбу авторитета, созданную «Архипелагом», можно до конца разрушить. Даже если он издаст десяток «Из-под глыб».

С точки зрения вечности, стоило бы просто оставить в стороне публицистику Солженицына, забыть о ней. Но я современник, я неспособен совершенно освободиться от тревог времени. Я чувствую необходимость понять, что водит публицистическим пером моего оппонента, какие двойные мысли примешиваются к его благородным порывам. Я чувствую, например, какую-то незалеченную рану (может быть, первых еще, детских столкновений с жизнью). Прикосновение к больным местам вызывает взрыв, почти рефлекторный, взрыв слепой ярости; и

ничего не остается от внутренней тишины лучших нержинских минут...

Ограничь пока одним примером: даже перемена моды на собачьи имена способна вызвать в Александре Исаевиче глубокую обиду. Хотя, кажется, какая разница — звать собаку Джеком или Тимошкой? И почему англичане на Джеков и Бобиков не обижались, а Тишка или Милка — смертельная обида русскому народу? Почему этому народу можно называть кота — Васькой, медведя — Мишкой, козу — Машкой и т.п. (профанируя имена св. Василия, архангела Михаила и Приснодевы Марии), а образованцу нельзя? Почему такая смена стиля в собачьих кличках говорит о *пренебрежении* к русскому? Разве собаку называют Рексом (царем), Трезором (сокровищем), Полканом (имя сказочного великана), чтобы унижить кого-то?*

Во-вторых, Солженицын *привык* к известной традиции спора, дух которого можно выразить словами Белинского: нет, что бы вы ни сказали, я все равно с вами не соглашусь! А такой спор невозможно окончить, не уничтожив инакомыслящих (по крайней мере, морально). Меняются идеи, остается структура реактивного мышления, объявляющего войну до победного конца за единственную истину, — за нашу истину.

Реактивное мышление возникает на том уровне, где *целое* утрачено разумом. Истина, добро и красота отделились друг от друга, перестали быть именами единого Бога, стали предметами, ничего не знающими друг о друге. И все ценности стали атомами, замкнутыми в себе. В этом ложном мире страстное стремление к полноте бытия принима-

*) Ср. «Из-под глыб», стр. 247: «Как на национальную проблему смотрит центровая образованщина — для того пройдите по знатным образованным семьям, кто держит породистых собак, и спросите, как они собак кличут. Узнаете (да с повторами): Фома, Кузьма, Потап, Макар, Тимофей. И никому уха не режет, и никому не стыдно. Ведь мужики — только «оперные», народа не осталось, отчего ж крестьянскими, крестьянскими именами и не покликать?» Поистине, с больной головы на здоровую: именно увлечение национально русским заставило сменить Джеков Тимошками. Кстати, крестьяне называют своих сыновей Виталиями и Геннадиями. У меня в станице Шкуринской были ученицы: Элеонора, Эсмеральда и пр.

ет форму фанатизма: одна частная ценность утверждается, как вся истина, а противоположная отрицается, как чистая ложь.

Реактивное мышление становится великой силой, когда человечество (или какая-то группа людей) опасно приближается к Сцилле; и оно право, предупреждая, что дальнейшее движение к Сцилле ведет к смерти. В этот миг не до тонкостей, не до оттенков. В этот миг надо кричать во всю глотку, как гуси, спасшие Рим: назад! Красный свет! Череп и две скрещенные кости! Таков голос Александра Исаевича в «Архипелаге». Но проходят годы, десятки лет, и вопль истины становится воплем лжи. Потому что напротив Сциллы — Харибда. Потому что непреклонный антикоммунизм так же опасен, как непреклонный антифашизм; и национализм, к которому Александр Исаевич возвращается, ничуть не менее разрушителен, чем интернационализм. Первую мировую войну, с которой все началось, весь «настоящий XX век», развязали не интернационалисты...

Современник войны, А. Дж. Тойнби, до последних своих дней утверждал, что национализм — причина гибели двух третей «цивилизаций», что в наших условиях сохранение национализма означает «волю к смерти»*.

Мировой кризис 1929 — 1933 гг. показал, что либеральная экономика изжила себя, что без каких-то сдвигов к государственному регулированию производства нельзя обойтись. Сейчас, в 70-е годы, надвигающийся мировой голод говорит о необходимости какого-то нового, интернационального регулирования. Но горький опыт России, бросившейся в регулирование безо всякого удержу, без оглядок на исторически мыслимый оптимум, привел И. Р. Шафаревича к мысли, что социализм — воля к смерти, а Солженицын примерно в том же винит воплощение интернациональных идей.

И. Р. Шафаревич приводит в пример древние царства,

*) Perry M. Arnold Toynbee: Nationalism as a «false god». — «Interpretation», N. Y., 1974, vol. 4, N 1, p. 48, 49.

Тойнби склонен к преувеличениям, но национализм действительно связан с ксенофобией, взрывы которой могут быть смертельно опасны. Это показал в особенности опыт Германии.

которые погибли, потому что довели регулирование до аракатеевских высот административного восторга. Но гораздо больше царств погибло от недостатка регулирования, от анархии. Одна из причин, по которой русский народ многое прощал Грозному, — это память об удельных расправах.

«Остановившиеся и выброшенные на помойку часы два раза в сутки показывают верное время» (Мейерхольд). Реактивное сознание замечает, что официальные часы лгут, выбрасывает их на помойку, и взамен тащит с помойки другие, вышвырнутые вчера. Так Возрождение вышвырнуло веру, надежду и любовь и вытащило с помойки Эпикура. Так барокко рванулось в противоположную сторону. Просвещение — снова влево, романтизм — снова вправо. Иногда (в России, например) эти движения совершаются даже одновременно. В 1902 г., когда Н. Бердяев и С. Булгаков начали свой путь от марксизма к идеализму, В. Ульянов основал большевизм. И сегодня космополитический интеллигент Сахаров ищет рационального решения мировых проблем (найдет ли, — не знаю, но ищет), а Солженицын надеется уйти от кризисов, к которым привело человечество рациональное мышление, забравшись на Северовосток — и отдав глупым китайцам, вместо Сибири — идеологию (совсем, как в сказке про вершки и корешки). Пусть они на чисто идеологической территории разместят миллиард крестьян.

Реактивное мышление не знает, что грех — со всех сторон, снаружи и внутри; и маленький грешок, сегодня неважный, завтра может стать смертным. Чем острее спор с внешним злом, тем иногда быстрее побеждает внутреннее зло. Вступив в борьбу, мы расковыряем свою собственную агрессивность, и Бог знает, куда она заведет.

«Нравственно то, что полезно революции» — идея, имевшая сперва благородную редакцию, мученическую редакцию. Ради революции шли на виселицы, сжигали себя, как исторический Мышкин (революционер, а не персонаж Достоевского). В истории христианства прошло несколько веков между мученичеством и сожжением еретиков (мешал образ Христа). В истории русской революции мученики очень быстро стали мучителями. Но логика одна и та

же: ad maiorem gloriam Dei. Александр Исаевич подчеркивает, что марксизм — ложная вера, а православие — вера истинная. Гораздо важнее другое — свобода от остервенения, от пены на губах в утверждении любой истины и желание понять своего противника*. Потому что благородные мотивы есть не только у нас, но и у них (по крайней мере, в начале движения), а первородный грех сидит не только в Другом. Князь Мышкин (Достоевского), признавшийся Келлеру, что у него самого бывают «двойные мысли», согласился бы с этим.

ВОКРУГ «РАСКАЯНИЯ И САМООГРАНИЧЕНИЯ»

(зигзаг в историю)

Общие идеи «Раскаяния и самоограничения» мне очень близки: *«разделительная линия добра и зла проходит не между странами, не между нациями, не между партиями, не между классами, даже не между хорошими и плохими людьми: разделительная линия пересекает нации, пересекает партии, и в постоянном перемещении, то теснит светом и отдает больше ему, то теснит тьмой и отдает больше ей. Она пересекает сердце каждого человека, но и тут не прорублена канавка навсегда, а со временем и с поступками человека колеблется»*. («Из-под глыб», стр.118). Я готов здесь подписаться под каждым словом.

«Мы так заклинили мир, так подвели его к самоистреблению, что подкатило нам под горло самое время кататься: уже не для загробной жизни, как теперь представляется смешным, но для земной, но чтоб на Земле-то нам уцелеть» (стр.117). Опять подписываюсь. И дальше: *«Если не вернем себе дара раскаяния, то погибнет и наша страна, и увлечет за собой весь мир»* (стр. 130). *«Если ошибаться*

*) С этой точки зрения, в споре Т. Ходорович с Л. Плющом я иногда готов встать на сторону Плюща: он больше хочет понять свою оппонентку (не требуя от нее перемены веры), чем она его (непреренно требуя, чтобы он растоптал ногами Карла Маркса). Впрочем, оба письма в "Континенте" №9 вызывают сочувствие, перевешивающие отдельные возражения; а вот резюме редакции огорчает. очень уж оно напоминает своей грубостью коммюнике АПН.

в раскаянии, то верней — в сторону большую, в пользу других» (стр. 137).

Казалось бы, после такого начала основное место в статье должно принадлежать именно раскаянию. Но так — скорее в «Архипелаге», особенно в 3-ем томе. Там есть несколько страничек о жгучем стыде, который з/к Солженицын испытывал перед литовцами, эстонцами и украинцами. Есть там и фраза, что латыши вызывали в Александре Исаевиче более сложное отношение; но одна фраза и она не портит дела. Это еще не норма, не догма. Это просто живая деталь в рассказе о том, что чувствовал з/к Солженицын, человек не святой, несколько даже злопамятный, неспособный и через десятки лет забыть подвиги латышских стрелков. Что делать! Кто из нас без греха!

В «Раскаянии и самоограничении» все иначе. Перед нами пророк, и пророк, уже совершивший хиджру, пророк в Медине, пророк — царь. Для устройства новой православной Руси ему нужна Украина — поэтому непосредственный стыд перед украинцами исчез, испарился; вместо того — головная формула о равных страданиях русского и украинского народа, которые *оба вместе* пострадали больше всех остальных (двойная натяжка). Фраза о сложном отношении к латышам разрастается в главную тему статьи; а вместо раскаяния и самоограничения — попытки доказать, что русские всегда готовы показать пример покаяния, но каяться им, по сути дела, не в чем: *«Одна из особенностей русской истории, что в ней всегда, и до нынешнего времени, поддерживалась такая направленность злодеяний: в массовом виде и преимущественно мы причиняли их не вовне, а внутрь, не другим, а — своим же, себе самим. От наших бед больше всех и пострадали русские, украинцы, да белоруссы. Оттого и пробуждаясь к раскаянию, нам много вспоминать придется внутреннего, в чем не укорят нас извне»* (стр.126).

При таком повороте дела не удивительно (хотя все же странно — в статье, названной «Раскаяние и самоограничение»), что противники раскаяния, «национал-большевики» из «Веча», упомянуты только мимоходом. Критике их *«жесткой, холодной точки зрения»*, признающей *«русский народ по своим качествам благороднейшим*

в мире» и не замечающей «национальных ошибок и грехов ни до 17-го года, ни после» (стр.129) посвящен один абзац, — суровый, но вполне корректный. Многие публицисты «Веча» держались гораздо менее великодушно, нападая не только на «Август», но и на личную жизнь писателя. Но великий писатель спорит с «Вечем», как со своими, после такой критики на завтра можно помириться. Весь гнев, вся желчь досталась публицистам, которые начали национальное покаяние и, по мнению Александра Исаевича, перекаялись. В их статьях он ощущает чужеродность даже «и в языке, вовсе не русском» (стр.131) * Их взгляды он яростно опровергает (одного только Горского — на шести с половиной страницах). Кроме того, много абзацев посвящено единомышленникам Горского в «Образованщине». В том числе и мне достается. Хотя, если действительно лучше «ошибаться в пользу других», то надо бы нас с Горским поддержать, а не Шиманова со Скуратовым.

*«К тому же, конечно и Померанц, — пишет Александр Исаевич. — Уверяет он нас, что "с позиции народности все кошки серы..."** бороться с отечественными порядками, стоя целиком на отечественной почве, так же просто, как вытащить себя из болота". И опять мы по тупости не понимаем: с какой же почвы можно бороться с отечественными пороками? — с интернациональной? Эту борьбу — латышскими штыками и мадьярскими пистолетами — мы уже испытали своими ребрами и затылками, спасибо! Надо исправлять себя именно самими, а не кликать мудрых себе в исправители»* (стр. 246-247).

Если посмотреть внимательнее мою книгу, легко убедиться, что я именно говорил о том, как исправлять себя самими, и приводил Солженицына как положительный пример. На что же он рассердился? Что универсальное (ин-

*) Хотя любомудры из "Веча" пишут ничуть не лучше. И нельзя требовать от философа, чтобы он писал языком поэта. Язык философии менее национальный, более экуменический. Вся европейская философия пестрит одними и теми же терминами.

**) Здесь А.И. пропустил: «У старых славянофилов была мерка, которой можно мерить Россию, — был Бог. У новых почвенников ничего нет, кроме любви к собственным детям больше, чем к чужим» — см. : Григорий Померанц. «Неопубликованное» (стр171)

тернациональное) может быть в каком бы то ни было случае выше локального (национального)? Теоретически Александр Исаевич с этим согласен («Из-под глыб», стр. 245). Видимо, только теоретически, в абстрактной перспективе, в уме, а в чувстве — не согласен, не может согласиться.

Умом Александр Исаевич признает, что *«английский, французский и голландский народ целиком несет на себе вину (а в душе след) колониальной деятельности своих государств»* (стр. 121); он сожалеет, что *«сегодня в Уганде ретивый генерал Амин высылает азиатов»* (стр. 122). Но как только европеизированные, оторванные от азиатских корней азиаты попытались ткнуться в Европу — подсознание белого человека перебивает отвлеченные рассуждения и откровенно выражает свои антипатии: *«В Великобритании... страна наводнилась азиатами и вест-индцами, совершенно равнодушными к английской земле, культуре, традициям и только ищущими пристроиться к уже готовому высокому стандарту жизни. Так ли уж это хорошо? Не нам издали судить»* (стр. 245). Критики, пожалуй, заметят, что начинали сами англичане, расселившись по всему свету и уничтожая (или вестернизируя) население целых континентов; что некоторые современные цветные (вест-индцы) были вестернизированы очень основательно, теперь и корней не найдешь. Физически они черные, психологически — белые. Психологические исследования показали, что дети вест-индцев в Британии в подавляющем большинстве случаев идентифицируют себя с «белой» английской культурой (другой у них нет). То же относится примерно к половине пакистанцев (у них корни поближе). Словом, большая совесть интеллигента заставит его (может быть, вопреки непосредственному чувству) защищать право цветных ассимилироваться, так же как право свободно передвигаться по свободному миру, в который их за шиворот втащили (разрушив замкнутые племенные и имперские миры)*. Совесть интеллигенции не

* Хорошо ли ассимилироваться? Это другой вопрос. Одним хорошо, другим дурно. Хорошо — если лично и личностно, внутренним выбором всего существа, мимо теорий национализма и космополитизма.

мирилась и не мирится ни с гетто, ни с чертой оседлости, ни с переводом черты оседлости на английский (и бурский) языки (апартеид). Интеллигенту стыдно своих антипатий. Но Солженицын советует оставить стыд:

«У подавляющего большинства людей существуют национальные симпатии и антипатии, иногда они общи какому-нибудь кружку людей, узкому или широкому, и внутри него высказываются (не слишком вслух, стыдясь перед ликом века), иногда это чувство (любви или ненависти, но чаще ненависти, увы) такое сильное, что захлестывает целые нации и уже прорывается трубно, если не воинственно. Часто эти чувства вызваны ошибочным или поверхностным опытом субъекта, всегда – они ограничены во времени, то возникают, то гаснут, но они сущест в у ю т , и даже очень категорические, что известно всем, и лицемерие – в запрете об этом говорить» (стр. 120).

Здесь опять можно заметить, что национальные антипатии не часто, а всегда ложны, что соборная национальная личность – метафора, аналогия, прием исследования, а практически всегда есть множество разных людей, и самые чудовищные преступления Генриха Гимmlера нельзя переносить на других Генрихов, ну, хотя бы на Генриха Белля. Белль, если хочет, может их принять на свою совесть и сказать, что лучше быть мертвым евреем, чем живым немцем, но если мы это про него скажем, если мы потребуем такого сознания, то очень согрешим.

Далее, судить о нациях, сравнивать их друг с другом – это одно дело, а испытывать антипатии – совсем другое; не лицемерие, а совесть заставляет стыдиться своих антипатий, и не перед ликом века, а перед ликом вечности. Ибо первое (в Средиземноморье) вселенское, интернациональное учение – не марксизм, а христианство...

Вселенские религии не упразднили ни семьи (хотя «враги человеку домашние его» – Матф.10, 36), ни народа, но они их релятивизировали, поставили ниже братства всех людей в едином духе. Народные антипатии – это наш ветхий Адам, наша языческая плоть. Новозаветное вклинилось в нее как стыд за свою языческую естественность. Если убрать стыд, что останется от христианства? Одно имя.

В. В. Розанов, человек очень откровенный, бранил

ап. Павла за то, что тот говорил высокопарные слова о любви, а своего рода и племени не любил. Я думаю, это неверно. Павел сказал: «несть для меня ни эллина, ни иудея» не потому, что не любил чего-то, а любил сильнее всего то, что Розанов считал невысказанным любить. Для одних единство человеческого рода — абстракция, недоступная сегодняшнему чувству; другие именно чувством, сердцем любят людей, перешагивающих через национальные счеты (кто, когда, кому пробил голову) и просто ставящих это *ни во что*. Говоря ученым языком, могут быть разные системы идентификации, разные чувства своего и чужого. Мироззрение, принятое умом, неспособно переменить человека, и христиане остаются язычниками, интернационалисты — просто объединяются в ненависти против классового врага, а если нет классового врага, то нет и согласия *. Но если универсализм дошел до сердца, он это сердце расширяет. Настоящие интернационалисты (Костерин, Григоренко) приняли дело крымских татар и немцев Поволжья за свое собственное. Между тем, националисты оправдывают дискриминацию разного рода историческими и моральными софизмами **. Один из таких софизмов — перескакивание в позавчерашний день, когда нынешние жертвы были палачами (а значит — поделом вору мука). Так всегда можно ускользнуть от чувства вины... Любая этническая группа когда-то тузила другую...

Однако попробуем понять психологию Александра Исаевича. Он любит Россию и не любит русской революции. Поэтому ему нужно доказать, что русская революция — не русская революция. В самом деле, почему бы не истолковать геогрpfию так, что только русские *вынуждены* были принять большевизм на свои плечи, и *только*? Почему не

*) Поэтому ликвидация последнего «классового врага», кулачества, привела к ликвидации, по крайней мере, некоторых функций пролетарского интернационализма. Понадобились новые основания солидарности, новая общая ненависть, и выплыл пятый пункт.

***) Писатель, которого спросили, почему он не выступает против национальной дискриминации, ответил «Как я могу заступаться за другие народы, когда мой собственный народ не имеет паспортов?» Это софизм: народ-нация имеет паспорта, народ-крестьянство татарское или узбекское так же не имеет паспортов, как русское.

отбросить в сторону Радищева, декабристов, Герцена, Чернышевского — весь полуторавековой процесс вызревания революции? Почему не предположить, что кучка иностранцев вдруг завладела огромной страной?

«Замечает Горский, — пишет Солженицын, — что году в 1919-м границы Советской России примерно совпадали с границами Московского царства, — значит, большевизм в основном поддержали русские... Но ведь эту географию и так можно истолковать, что русские в основном вынуждены были принять его на свои плечи, и только? А разве знаем мы на земле хоть один народ, который в XX веке был застигнут пришедшей волной коммунизма и устоял против него, встряхнулся? Таких примеров еще нет, кроме Южной Кореи, где помогала ООН. Был еще Южный Вьетнам, да дали, кажется, ему подножку» (стр.135)

Ссылки на Азию должны, по-видимому, доказать, что коммунизм — нечто вроде монгольского войска, ломавшего любую оборону. Мышление писателя (скорее ассоциативное, чем логическое) смешивает здесь две вещи: движение идей (например, Французской революции или Русской революции) и армий (наполеоновских, советских). В Корее не было революции. Советские власти установили один режим, американские — другой. Война, начавшаяся в 1950 г., с самого начала приняла международный (а не народный) характер. Именно поэтому американские войска (прикрытые флагом ООН) смогли отстоять прозападный режим от просоветского. Напротив, Хо Ши Мин начинал с одними идеями. В 1919 г. он попросил у Вильсона поддержки в борьбе за независимость. Вильсон не мог помочь, и дядя Хо стал ленинцем (сочетав борьбу за национальное освобождение с пролетарским интернационализмом).

Думаю, что победа русской Красной армии была, в конечном счете, победой русских солдат и русских (или обрусевших) командиров и комиссаров. Хотя я готов согласиться с Александром Исаевичем, что в России дело было сложнее, запутаннее.

«Конечно, побеждая на русской почве, — пишет Солженицын, — как движению не увлечь русских сил, не приобрести русских черт! Но вспомним же интернациональные силы революции! Все первые годы революции разве не

было черт как бы иностранного нашествия? Когда в продовольственном или карательном отряде, приходившем уничтожать волость, случалось — почти никто не говорил по-русски, зато бывали и финны, и австрийцы? Когда аппарат ЧК изобиловал латышами, поляками, евреями, мадьярами, китайцами? когда большевистская власть в острые периоды гражданской войны удерживалась на перевесе именно иностранных штыков, особенно латышских? (Тогда этого не скрывали и не стыдились). Или позже, все 20-е годы, когда во всех областях культуры, и даже в географических названиях, последовательно вытравлялась вся русская традиция и русская история, как бывает только при оккупации, — это желание самоуничтожиться тоже было выражением "русской идеи"?» (стр. 135).

Страстное чувство толкает Александра Исаевича к софизмам, к подмене одного термина другим. Латыши, евреи, поляки — не иностранцы, а «инородцы» (или, как сейчас говорят, «национальные меньшинства»). Называя их иностранцами, Александр Исаевич одним махом превращает в интервенцию и агрессию то, что было участием граждан в своей собственной революции. Потому что никакого другого подданства, кроме Российской империи, у инородцев не было.

Роль латышей, поляков и евреев в русской революции была значительной (так же, как роль грузин и армян, я бы упомянул этих, а не мадьяр и китайцев). Однако те, кто участвовал в установлении советской власти, попали в Архипелаг, или прямо на тот свет. Русские и нерусские — все лежат в земле с одинаковыми бирками на ногах. Казалось бы, мертвые сраму не имут. Так нет!

Я не вижу здесь никакой логики, — ни логики разума, ни логики сердца. Нет даже логики предрассудка, потому что никаких общерусских предрассудков в отношении латышей нет. Русская народная память их не сохранила. Запомнились только одни: евреи. В народной памяти все инородцы, строившие советскую власть, слились в евреев, как некогда хозары, печенеги, половцы смешались в поганом татарине. И если русская революция не русская, то она — еврейская. Так ставит вопрос «Вече»...

Но Александр Исаевич хочет быть объективным. Он

перечисляет, безо всякого лицепрятия, латышей, поляков, евреев, мадьяр и китайцев. Опасное слово засунуто посередине, так, чтобы его и выдернуть нельзя было для цитирования (черта, которую Солженицын-полемист пронизательно отметил в Ленине-полемисте. Ср. «Ленин в Цюрихе»). Однако позвольте, разве евреи действительно играли третьестепенную роль в русской революции? Поменьше поляков, побольше мадьяр? Современники смотрели на эти вещи иначе...

Среди настоящих иностранцев, а не инородцев, хорошо бы отделить энтузиастов (вроде маркиза Лафайета) от интервентов. Тогда бросилось бы в глаза, что мадьяры и китайцы были подхвачены русским революционным энтузиазмом. А на стороне белых действовало несколько регулярных армий, — но вяло, несогласованно, безо всякого энтузиазма. Если не считать японцев и поляков (имевших свои особые интересы), Антанта ограничилась охраной портов, да и тут французы едва не перешли на сторону красных.

Любопытная черта Александра Исаевича: он об интервенции не упоминает. С точки зрения нынешних советских историков, русский народ победил три похода Антанты. С точки зрения Солженицына, русский православный народ был разбит сбродом латышей, поляков, евреев, мадьяр и китайцев. Мне кажется, вторая концепция не лучше ладится с фактами, чем первая, и даже не очень лестна для русского самолюбия...

Если бы весь русский народ ненавидел большевиков так, как Александр Солженицын, латышский гарнизон не отстоял бы Кремля. Так же, как не отстоял в XVII в. польский гарнизон, так же, как не спасли Людовика XVI «любезноверные швейцарцы»*. Гражданская война давала много возможностей прогнать Ленина. Но — тут мы сталкиваемся с еще одним примером большевистской партийности наизнанку: Александр Исаевич перечисляет только крестьянские восстания против красных. А против белых?

*) Шедрин. Кстати: если латышские штыки иностранные, то как назвать сабли Дикой Дивизии, двинутой Корниловым на революционный Петроград? Или нагайки ингушей, охранявшие русские имения от русских крестьян?

Их, вроде, не было. Между тем, большевики действительно не имели полной поддержки крестьянства, но на какую-то часть они сумели опереться. А белых крестьяне вовсе не поддерживали. Русский мужик задним умом крепок. Он хорошо помнил крепостное право, кое-где пограбил в 1918 г. помещичьи имения, поубивал помещиков и не хотел ложиться под розги, как в 1905-1907 гг., а то и на виселицу идти (за убийства и повесить можно было, Столыпин вешал). Поэтому против большевиков бунтовал, это верно, но в решающую минуту предпочитал красных*.

Многие современники, не понимая успеха большевиков, свалили все на Троцкого и других евреев. Но среди сторонников Временного правительства инородцев было больше (особенно среди меньшевиков). И даже среди юнкеров, последних защитников Зимнего. После февраля 1917 года евреев стали брать в юнкерские училища, и сыновья столичных образованцев охотно шли туда. Им Керенский нравился... Странная картина! В столице Российской империи, в решающий момент русской истории XX века, одна кучка евреев свергает правительство, другая защищает его. Куда подевались русские?

Задним числом натиск большевиков иногда рисует в эпических тонах. На самом деле, на Временное правительство решительно все плевали. Консервативные офицеры, сражавшиеся впоследствии в белой гвардии, не хотели поддерживать адвокатишку, ругавшегося над государственной-императрицей, и почти злорадствовали, что какие-то сумасшедшие жида (которые двух недель не удержатся) свергнут его. Консерваторы хотели диктатуры, — ну, они и получили диктатуру.

В этой войне белые, по меткому определению С. Франка, были чем-то вроде коалиции собственно белых (по Франку — либералов) с черными (черносотенцами). Коалиция — вещь хрупкая, ненадежная. Солженицын винит эсеров, что поссорились с Колчаком; а может быть виноват Колчак, что поссорился с эсерами? И с сибирским крестьянством? Красные были сильнее уже тем, что сохранили

*) Стоит, может быть отметить, что в период грабежа помещичьих имений, в начале 1918 г., все крестьянские поэты (вместе с Белым и Блюком) вошли в группировку «Скифы» поддерживающую большевиков.

единство. И еще — неизвестностью: мабуть гирише, та иныше, сказал один украинский крестьянин, когда его спросили в 1940 году о возможной агрессии. Большевики были «*иньше*», и революционным «*иньше*» (а старый прижим опостытел). Большевики расстреливали, но не пороли. Они на свой лад уважали мужика и уравнили его с генералами в праве на 6 золотников свинца. Между тем, либерализм белых оставался на бумаге, а шомпола черных — на мужицкой спине.

Александр Исаевич подчеркивает, что важнейшим козырем большевиков был террор. Верно, красный террор оказался организованнее и эффективнее белого. Не потому, что у белых злости не хватило (у дроздовцев — хватало: расстреливали без суда все советы, попадавшие им по дороге с румынского фронта на Дон *. Хотя советы *тогда*, в начале 1918 года, были действительно народными органами власти, часто безо всяких большевиков). Белому террору (как и всему белому движению) не хватало организованности и системы. Красному — хватило. Но террор — это еще не Архипелаг. Террор — явление бесхозяйственное, антихозяйственное, чистое разоренье; оно не может длиться долго. Архипелаг — это террор, ставший хозяйством, террор, который сам себя кормит, экономический уклад. Эпизод террора может быть и в Европе (во Франции, например, в 1793-1794 гг.). Лагерное хозяйство — явление азиатское, в терминах Маркса — азиатский способ производства. Идеи Маркса дали толчок, который привел к Архипелагу. Но при этом Маркс, а отчасти и Ленин, были поставлены на голову. Маркс говорил о насилии, как повивальной бабке истории, но он не предлагал тащить человека гинекологическими щипцами через всю жизнь до могилы... Поэтому Солженицын не совсем прав, начиная историю Архипелага с 1918 г. Факты не укладываются в его концепцию. Трудовые армии Троцкого — свидетельство, что «лагеря» (лагпункты, лагерные колонии) начала революции никакого экономического значения не имели. Сами же по себе трудовые армии — не зачаток и не разновидность Архипелага, а другое ведомство; примерно так

*) Основываюсь на рассказе свидетеля — П. Г. Григоренко.

же, как трудовой фронт для арийцев (в гитлеровской Германии) — не Майданек и не Освенцим, или как поездка студентов МГУ на уборку урожая — не этап в Потьму.

Существует огромная разница между революционным сочетанием энтузиазма с террором — и сталинским сочетанием террора с холуйством и лагерным рабством как способом производства. Революция не была бы революцией без господства энтузиазма, романтики и мятежа. Архипелаг ГУЛАГ как всесоюзная организация складывается к середине 30-х гг. Еще позже приняты законы, приравнявшие вольнонаемных к расконвоированным, которых в любую минуту можно законвоировать (рабочего — за прогул, колхозника — за нерадивость). Но только революция, даже индустриализация, начались без этого. Говоря в лицах, — без Френкеля, а с Ванниковым, Лихачевым, Тевосяном, со строителями-энтузиастами, убежденными, что они закладывают фундамент общества «без нищих и калек».

В период коллективного руководства 20-х гг. Соловки существовали «на краю ойкумены»; это нерчинские рудники, каторжные работы, галеры XX века. Они могли существовать 100 и 200 лет, не захватывая континента. Никакого стихийного процесса — как при развитии раковой опухоли — я здесь не вижу. Был сознательный выбор Сталина, проверенный экспериментом с Беломорканалом и каналом Москва-Волга. В Югославии есть диктатура коммунистов, но Архипелага нет. В Китае было несколько гигантских волн террора, но основные формы — другие: интеллигентов посылали на перевоспитание в деревню и роль вертухаев играли простые крестьяне. Экономические задачи решают не лагеря, а нечто вроде трудармий (Китай кое в чем разыгрывает дебют Троцкого).

Лагерное рабство достигло масштабов «уклада» или «способа производства» только еще в одной империи, не коммунистической: в Третьей империи Адольфа Гитлера. Яростный антимарксизм Гитлера строил лагеря смерти ничуть не хуже, чем яростный марксизм Сталина. Марксисты и националисты старомодной европейской выделки приходили к власти и уходили от власти, но власть не становилась для них напитком ведьмы, и на их совести нет ни

Колымы, ни Майданека. Злодействовала не идея (национальной самобытности или вселенского братства), а ярость, развязанная на полях первой мировой войны. Злодействовал гнев, переставший быть святым и искавший нового предмета ненависти, перебирая старые счеты...

Существование Архипелага, строго говоря, не доказывает тождества социализм = Архипелаг и невозможность демократического социализма, основанного на другом прочтении Фурье, Сен-Симона и Маркса. Развитие *свободного* капитализма тоже не обошлось без рабства (в колониях, например, в южных штатах Америки). Я не думаю, что рабство негров справедливее рабства з/к. И по масштабам — 3 млн. рабов! — американский Архипелаг сравним со сталинским. Читая книгу о Джоне Брауне, я невольно сравнивал ее героя с Солженицыным. Та же заикленность на своей освободительной идее. Та же ярость борьбы...



Вернемся теперь к интернациональным силам русской революции. Я спрашивал военного специалиста, правда ли, что латышские и интернациональные части были хребтом Красной Армии? Он указал еще на одну черту — % коммунистов. Части с низким % коммунистов разваливались или переходили на сторону врага; с высоким % коммунистов — были надежной опорой. Но о доблестях латышей, мадьяр и китайцев генерал Григоренко отозвался с большой похвалой. Они дрались гораздо активнее интервентов.

И вот тут встает вопрос: почему? Видимо, лозунги красных могли зажечь и мадьяр, и китайцев; а идеи белых (и стереотипы черных) зажигали только их самих. Второй вопрос: почему чехословаки в массе оказались за Антанту, с белыми, а мадьяры против Антанты, с красными? Случайно ли это — или продолжало мадьярскую и чешскую историю?

Я не хочу сказать, что интернациональные части не были интернациональными. Без общего энтузиазма мадьяры и китайцы не могли бы вместе драться и умирать. Но у мадьяр был еще свой национальный зуб на Антанту, а у китайцев — свой. Нынешние афро-азиатские националисты все до некоторой степени интернационалисты (когда дело

доходит до общей борьбы с Западом). Разница только в акцентах. Тогда, в похмелье первой мировой войны, на поверхности сознания мог господствовать интернационализм, сейчас — национализм; а на самом деле и тогда, и теперь — слоеный пирог, в котором верхний слой — не всегда самый важный.

Если читатель согласится со мной, то, может быть, и у русских коммунистов, под осознанным Третьим Интернационалом, можно расковырять неосознанный Третий Рим? И если они жертвовали национальным самолюбием, то ради имперского? «Слушай, земля, голос Кремля!» (Маяковский).

Александр Исаевич очень рассердился на Горского за то, что тот заговорил про перекличку Третьего Интернационала с Третьим Римом, — и обрушил на молодого публициста полную меру своего презрения и гнева. Однако, надо бы переспорить не только Горского. Книга Карла Витфогеля «Восточный деспотизм» отчасти о том же, т. е. о роли марксистских идей в процессе модернизации восточной империи. Разумеется, доказать тут что-нибудь трудно. Но, мне кажется, важна заявка на исследование темы.

Видимо, коммунистический интернационализм содержит в себе призыв к созданию мирового правительства, и каждая *независимая* коммунистическая страна пытается сформировать ядро такого правительства. Особенно хорошо слышат этот призыв страны со старыми имперскими традициями. Коммунистический Вьетнам распространил свое влияние на Лаос (продолжив дело объединения Индокитая, начатое в средние века). Две великие империи — русская и китайская — упрочили свои границы и достигли (Россия) или достигают (Китай) статуса сверхдержав. Между тем, все другие империи распались. Сперва сухопутные (обе германских и турецкая), потом и морские, колониальные.

Мне кажется, невозможно отвлечься от этого. Одна моя приятельница страстно доказывала, что решает духовное зерно, Россия — только почва. Но зерном, выросшим в восстании тайпинов, было христианство. Разумеется, дурно понятое, по-китайски усвоенное, и христиане могут не принимать на себя ответственность за зверства тайпинов.

Однако Плеханов, Аксельрод и др. считали ленинское прочтение Маркса таким же тайпинским, лишившим Маркса его европейского духа. Таким образом, красивая метафора (зерно — почва) ничего не доказывает. Национальная почва вовсе не так пассивна, как земля. Она сама по себе активна. Скорее это материнское лоно, принимающее в себя семя чужого, но рождающее — свое. И это свое, рождающееся от попыток осуществления марксизма, почему-то каждый раз оказывается возрождением восточной империи, поставленной на край гибели натиском Запада...

Советский режим — несомненно что-то новое, так же как новыми были порядки, установленные английской и французской революцией. Но невозможно представить себе английскую революцию во Вьетнаме, французскую — в Индии. Традиция включает в себя и некоторые возможности самообновления и саморазрушения: в духе Цинь Ши-хуанди и Мао Цзе-дуна в Китае, в духе Кольбера и Робеспьера во Франции, в духе Петра и Ленина в России*.

Если Россия только *вынесла* коммунизм, а не *вынашивала* его, то почему «История одного города» и «Сказки» Щедрина читаются как современные памфлеты? А ведь опыт, на который опирался Щедрин, мог быть только предварительным опытом царского вице-губернатора...

Помню, как меня обжег «Северовосток» Волошина, в 1955 г., когда русская поэзия, заученная наизусть, возвращалась из лагерей и собиралась в столичных кружках. Александр Исаевич ссылается на заглавие стихотворения; я позволю себе процитировать текст:

Вейте, вейте, снежные стихи,
Заметая древние гроба.
В этом ветре — вся судьба России:
Страшная, безумная судьба.
В этом ветре — гнет оков свинцовых,
Русь Малют, Иванов, Годуновых —
Хищников, опричников, стрельцов,
Свежевателей живого мяса —

*) Хочется сослаться на превосходную статью о реформах Петра: Б Успенский — *Historia sub specie semioticae*. В кн. «Культурное наследие Древней Руси», М., 1976, стр 286-292

Чертогона, вихря, свистопляса —
Быль царей и явь большевиков.
Что менялось? Знаки и возглавья?
Тот же ураган на всех путях.
В комиссарах — дух самодержавья,
Взрывы революции — в царях.
Вздеть на вышку, выбить из подклетья
И швырнуть вперед через столетья,
Вопреки законам естества —
Тот же хмель и та же трын-трава.
Ныне ль, даве ль — все одно и то же:
Волчьи морды, машкеры и рожи,
Спертый дух и одичалый мозг,
Сыск и кухня тайных канцелярий,
Пьяный гик осатанелых тварей,
Жгучий свист шпицрутенов и розг,
Дикий сон военных поселений,
Фаланстер, парадов и равнений,
Павлов, Аракчеевых, Петров,
Жутких Гатчин, страшных Петербургов,
Замыслы неистовых хирургов
И размах заплечных мастеров...

В чем смысл волошинских метафор? Об этом можно спорить, но за ними скрывается какая-то страшная истина. Мне кажется, «ветер» — это культурная неустойчивость, шаткость всех традиций, приходивших то из Византии, то из Орды, то с Запада — и не слившихся в стройное целое, не укоренившихся прочно. Широта — до пустоты, в которой просторно гению и невыносимо среднему человеку. Вакуум, в котором раздольно опричнине, всешутейному и всепьянейшему собору, экспериментам Ленина и Сталина... Именно на этой почве (или беспочвенности) идеи Маркса, аранжированные Лениным, впервые стали материальной силой.

Однако ветер веет не только в России. Ветер дует из глубин истории, это мировой вихрь, «мировой пожар в крови». И второе направление исследования ставит Россию на место как одно из звеньев в *мировом* революционном процессе. Этот процесс чаще всего прослеживается с западной церковной революции XVI в. Он продолжался в цер-

ковно-политических революциях Голландии и Англии, принял мировой характер в английской промышленной революции и политических революциях Франции *. Ленинская Россия придала революции коммунистический характер. Сейчас революционный процесс бурлит на дальнем и Ближнем Востоке и в Африке.

Я думаю, что облако романтики, окружившее слова «комиссар» и «террор», сыграло в истории русской революции гораздо большую роль, чем мадьяры и китайцы. Оно опьянило русских гимназисток так же, как вьетнамских и китайских школяров — слова «большевик» и «совет».

Однако идейные корни революции можно найти пораньше — в гностицизме **, и еще раньше — в истоках иудео-христианской традиции. После Вебера принято считать, что само понятие истории как поступательного движения к светлому будущему зародилось в еврейском мессианстве. Христианство сделало эти идеи универсальными, а просвещение — только секуляризовало их. Таким образом, первородный грех совершили евреи. Даже экологический кризис выводится из 28 стиха 1 главы «Бытия» ***.

Правда, с Тойнби можно и не согласиться ****. Но нет никакого сомнения в том, что евреи за три с половиной тысячи лет успели принять участие во многих роковых событиях, определивших характер западной, а вместе с ней и мировой цивилизации. Россия — песчинка, подхваченная вихрем, соломенная скирда, загоревшаяся от чужого пожара. Пожар — западный, а искрой, раздувшей его, была (по Веберу) «протестантская этика», в конечном счете — Библия, в конечном счете — еврейский дух, запечатленный в Ветхом и Новом Завете. Еврейское сознание первородного греха, чувство падшести не оставляло (по словам М.Элиаде) никакого другого выхода, кроме прогресса. Секуляризованную форму прогресс принял только у французов

*) Muhlmann WE Weltrevolution auf Zeit gestreckt In Soziologie der Entwicklungslander, Stuttgart, 1968.

***) Очень популярно об этом писал А Франс в «Восстании ангелов»

Ср также ученую монографию Jonas M — The gnostic religion. Boston

****) Ср Toynebee A. — The religions background of the present environmental crisis. «Intern. j. of environmental studies», N Y., 1972, vol.3.

****) Ср. Hughes J.D. — Ecology in ancient civilisations Albuquerque, 1975 Ecology and religion in history, ed by D a. E' Spring N Y 1974

XVIII в. Но если мыслить в масштабах тысячелетий, можно сказать, что именно евреи сыграли роль Смешного человека, заразившего счастливую планету своей тревогой, неудовлетворенностью, стремлением неведь к чему. До пророков либо вовсе не было истории (как осознанного измерения человеческого бытия), либо (у греков, у китайцев) была история циклическая, возвращающаяся на круги свои (как в Экклезиасте). Пророки впервые перенесли золотой век в будущее, и началась история линейная, движение к светлomu будущему, прогресс. Сперва, конечно, как ожидание Мессии, пришествия Христа. Но уже в простом термине Новый Завет (который выше Ветхого) было зерно истории — в западном смысле этого слова — и зерно революции. Пастернак прав в целом (хотя очень неточен в частности), заметив, что до Христа не было истории, а только жизнерадостное свинство рябых Калигул. Свинство — это скорее про Сталина (Калигула, кажется, не был рябым). Но переход к монотеизму действительно был первой идеологической революцией, потрясшей человечество. Буддизм не изгонял старых богов, нетерпимость к чужой, неправильной вере — черта, внесенная в мир еврейством. Шиллер оплакивал этот переворот, «обезбоживший» природу, и выводил из монотеизма механический материализм XVII - XVIII вв. * Макс Вебер переменял минус на плюс и говорил о «расколдовывании мира», открывшем дорогу протестантской этике и духу капитализма. Тойнби, потрясенный экологическим кризисом, возвращается к Шиллеру... Таким образом, оценки меняются, но многие серьезные историки согласны, что на китайской или индийской почве идея прогресса, идея революции (и нынешний безумный, безумный, безумный мир) не могли бы возникнуть.

Средой, в которой выросла и окрепла идея монотеизма, была диаспора. Человек диаспоры как бы стоит на одной ноге. Опустит вторую — попал в чужое. В настоящем ему не на чем держаться, и он рванулся в будущее. В настоящем его со всех сторон окружают соблазны ассимиляции — и он, на краю геноцида, обороняется от соблазнов

*) В «Богам Греции» «бой часов» рифмуется с «обезбоженной природой», die entgottete Natur. Никакой перевод этого не передает. Скорее — оригинальное тютчевское стихотворение «Бессоница».

нетерпимостью и фанатизмом. Эти черты перешли во все-ленские монотеистические религии, христианство и ислам, сложившиеся под влиянием еврейского импульса. На евреев, оставшихся вне христианства, обрушилась еврейская нетерпимость, ставшая христианской и мусульманской нетерпимостью. Ни одни язычники не унижали и не истребляли евреев так, как духовные наследники еврейских пророков. В итоге, евреи, уцелевшие от казней, забились в свои щели и старались спрятаться от всемирной истории, созданной ими. Так же, как сейчас они прячутся в Израиль от русского коммунизма.

Я сознательно несколько заострил идею, приписывая одним евреям общую черту средиземноморского региона, которую они выразили в перекличке с другими народами*. Средиземноморье в целом — зона культурной нестабильности (сравнительно с Китаем и особенно с Индией); по разным причинам, которые здесь некогда разбирать, средиземноморские страны никогда не были единой цивилизацией (а гетерогенность создает неустойчивость или, со знаком плюс, динамизм). Отдельные народы исполняли в древнем концерте разные партии, которые потом вошли в общую традицию и стали общим достоянием всех народов.

С более широкой точки зрения, несущественно, какая из наций подхватит импульс, родившийся в древней плоти, преобразует его и передаст дальше, заразит других. Дух веет, где хочет, он не справляется с пунктом 5 советской анкеты, он может пережить или оставить в стороне свое первое воплощение. Дух тревоги и тоски по будущему обосновался во всем христианизированном мире, и в русском, может быть, больше, чем в других. «Сон смешного человека» написал Достоевский. И «Бесы», где фанатизм революции обличается с фанатизмом контрреволюции, тоже написаны Достоевским. «Я жид по натуре, — писал Белинский, — и с филистимлянами за одним столом сидеть не хочу». Это не западное влияние, протопоп Авва-

*) Например, тип пророка сложился и в Иране, так же как метафора борьбы духовного света с тьмой. Впоследствии какая-то аналогия «политического пророка» (Р Белла) появилась и в Китае (Мо-цзы), и в Японии (Нитриэн)

кум — не западник, скорее перевоплощение своего библейского тезки: и Александр Исаевич мог бы подписаться под формулой Ленина: «прежде, чем объединиться, надо размежеваться».

К концу XVIII века еврейский (по своему происхождению) мессианизм, секуляризованный на Западе, ставший революционным фанатизмом, зажег Радищева; еще через 100 лет этот дух дошел до массы евреев, прозябавших в добровольной изоляции от истории в российском апартеиде (черте оседлости). И тут старая заржавленная пружина ветхозаветного мессианизма, подхваченная механизмом русской революции, неожиданно заработала. Возник революционный фанатизм в квадрате, придавший русской революции значительную долю ее размаха.

Однако до какой степени была свободна воля непосредственных участников событий, русских, и евреев, и прочих? И до какой степени они были захвачены и обморочены историей? Масса, даже масса активистов, подчиняется законам больших масс. Только «сильно развитая личность» способна «пробиться сквозь историю» и быть свободной*.

Какие же обстоятельства сперва дирижировали перекличкой русского и еврейского духа, а потом расстроили концерт? Это ведь тоже любопытный вопрос. Исчерпать его трудно, но кое-какие обстоятельства можно указать.

Во-первых, очередная (по моему счету третья) волна русского просвещения взбаламутила еврейские местечки как раз тогда, когда столичные интеллигенты начали переходить от марксизма к идеализму. С известной точки зрения, большевистская революция — это победа провинциальной (и нацменской) образованщины над столичной элитой (с меньшим заевреиванием кадров. Можно, впрочем, указать на имена Шестова, Франка, Гершензона, Мандельштама и др.).

Во-вторых, решительные повороты в России и до 1917 г. требовали участия нерусских сил. Именно в России: коммунизм здесь мало что прибавил. Коммунистическая

*) Слова в кавычках принадлежат Достоевскому и Тагору.

революция в Китае обошлась без инородцев (китайские евреи успели стать чиновниками и окитаиться еще в средние века. Других подходящих инородцев не нашлось). Во Вьетнаме подходящие инородцы были (китайцы), но выдвинуться им не дали: не оказалось нужды (вьетнамцы сами — хорошие организаторы) и существовали опасения за будущее: вьетнамские интернационалисты хорошо помнили историю войн с Китаем. Кажется, только в Югославии революция переплелась с некоторыми этническими сдвигами: вождем стал Иосип Броз Тито, не-серб. Но инородцем его тоже не назовешь.

Почему в России дело пошло иначе? Интуитивно мне кажется очень важным, что талантливый русский тип — широкий, размашистый, разбросанный, — не выносит канцелярской лямки. Война — другое дело. На войне есть место и для удали, и для размаха, и для беспечности (помню, как замирало сердце, когда мы пели в 1944-м: «... беспечно спали среди дубравы...»). Я прошел от Москвы до Берлина, *ни разу* не зная ни пароля, ни отзыва). Завоевать империю так можно, управлять — не очень. Русский «гений, прикованный к чиновничьему столу, сойдет с ума или погибнет» (китайские — почему-то не гибли. И Э. Т. А. Гофман был исправным чиновником). В приказах, в департаментах, в отделах кадров копошится дрянь: Молчалины, Русановы. С ними можно сохранять инерцию установившихся форм, но исторический поворот, создание нового русского государства никогда не обходилось одними русскими силами. Потом, когда новое сложится, «крапивное семя» (как его называли в XVIII в.) берет реванш, и мавр, сделавший свое дело, списывается в расход.

Прав я или неправ, — не знаю. Но управление русской империей то и дело попадало в руки инородцев (или младших родственников — украинцев). Я думаю, в XVIII веке это было особенно обидно. Клали свои животы на алтарь отечества, присоединили Эстляндию и Курляндию — и тут же посадили себе на шею Бирона. Немка Екатерина выдвигала на первые места русских, но в канцеляриях, штабах, в академии продолжалось немецкое засилье, и при Павле оно тошно было до крайности (тогда еще не было интернационализма). Даже в романах русских писателей, какие

фамилии носят деловые, энергичные люди? Костанжогло, Инсаров, Штольц... Тут уже заранее приготовлено было место для Левинсона.

В-третьих, чем дальше разворачивалась революция, тем труднее было евреям увернуться от назначенного места в советских канцеляриях (взамен немцев, служивших Романовым). Сперва подавляющее большинство политически активных евреев было против Ленина (даже в его собственной партии – Зиновьев и Каменев). Но Ленин правильно угадал, что в ходе гражданской войны евреи, оказавшиеся между белыми, батшкой Григорьевым и красными, вынуждены будут прыгать в попутчики большевизма, как Грибуль прыгнул от дождя в воду; так же, как крестьяне, оказавшиеся между возвращением помещиков и продразверсткой, вынуждены будут покориться продразверстке... И потом, по мере роста нажима на частных, евреям некуда было деваться, кроме государственных учреждений. Советская система построена так, что от ее нажима можно спастись только в ее же аппарате, укрепляя его. Несколькими позже по тому же пути пошли дети крестьян, бежавших в города от раскулачивания... Потом, после 2-ой мировой войны, – татары, изголодавшиеся в своей Татари. Сейчас их в Москве, говорят, 700 000. И вслед за татарами-дворниками появляются татары-референты, профессора, писатели...*

Однако история иронична. Затаскивая евреев в госу-

*) Впрочем, не одни татары. Интеллигенты мусульманского происхождения сменили одесситов 20-х гг. и опять вносят жизнь и движение в окостеневшую после очередной экзекуции Москву. Даже о таком специфически русском предмете, как «Слово о полку Игореве», единственная нескудная книга последних лет принадлежит О Сулейменову, очень ясно сознающему свою двуязычность, двукультурность, «диаспоризованность» Имперская политика часто давит культуру, но имперская культура постоянно втягивает в себя новые этнические группы и от этого приобретает новые живые черты. Результаты процесса невозможно предвидеть. «Всемирная отзывчивость» невозможна без доли космополитизма, без риска утраты национального своеобразия, без почвеннических судорог. Кто не рискует – не выигрывает, но, разумеется, и не проигрывает. Всякая империя – спекуляция. Она может кончиться и обогащением, и разорением

дарственный аппарат, она почти одновременно начала их выталкивать: сперва с высших постов, потом и со средних. В 1923-1927 годах наиболее заметные лидеры еврейского происхождения были вытеснены из Политбюро, а к 1939 г. — и из ЦК. Между 1939 и 1952 г.г. остаток евреев в ЦК был почти полностью заменен украинцами. Хрущев говорит, что Сталин не любил украинцев. Скорее всего, Сталин никого не любил. Но к порядкам, сложившимся к 1940 г., москали еврейского происхождения не подошли, а украинцы подошли.

Дополнительная ирония заключалась в том, что Россия, прежде чем выталкивать евреев, ассимилировала их. Процесс ассимиляции шел в советское время раз в десять быстрее, чем в XVIII-XIX вв. — ассимиляция служилых немцев. И тут снова все перепутывалось. Возникает вопрос, который кажется мне совершенно неразрешимым: до какой степени евреи, участвовавшие в создании и укреплении советской власти, были евреями?

В салоне Анны Петровны Шерер принято было называть императора французов Буонапарте. Пьер Безухов прекрасно знал, что Наполеон — корсиканец, но называл его Бонапартом. Так и осталось. Думаю, что и Троцкий останется в истории Троцким. «Великий человек, — писал И. В. Сталин, — принадлежит той стране, которой он служит»*

Кто такой фон Визин? — Русский писатель. Кто такой Левитан? — Русский художник. А кто такой Врангель? Троцкий? Это зависит от ваших политических взглядов, читатель. Демьян Бедный, несмотря на интернационализм, глумился над мнимым коверканьем русского языка немцем Врангелем: «Их бин фон Врангель, херр барон. Я самый лучший, самый шестный ис кандидат на царский трон». Напротив, Троцкий в глазах конармейцев был русским. Евреев они не любили, но их главнокомандующий не был евреем. «Ваши Ленин и Троцкий — жиды», — говорит у Бабеля мешочница. «За Ленина не скажу, — отвечает Афонька Бида. — А Троцкий — отчаянный сын тамбовско-

*) Мне говорили, что подобная резолюция была поставлена на докладе предприимчивого образованца, доказавшего (по сплетням Софьиного двора), что Петр Великий — сын иверского посла (царевича Вахтанга)

го генерал-губернатора».*

Политическое отчуждение выражает себя в этническом отчуждении, политическое братство — в побратимстве. Для белых Врангель — русский, а Троцкий, в лучшем случае, еврей (чаще — жид). Со всеми вытекающими отсюда выводами насчет национального раскаяния и самоограничения.**

Даже троцкисты, воюя со Сталиным, остро чувствовали его грузинский запах. (Сосо, Джугашвили, восточный повар, любящий острые блюда. К своему собственному запаху приюхались). И у Мандельштама: «Кремлевский горец», «широкая грудь осетина». Хотя не все ли равно, грузин Сталин или осетин?

Так же не просто выглядит дело, если взглянуть на него со стороны иностранца, ассимилирующегося в России. Фальконе, скорее всего, не считал себя русским. Но у себя на родине он был посредственным скульптором. Только русская почва дала размах его гению. И так же с другими способностями, менее привлекательными. Блюмкин, спяну составляющий список на расстрел, немислим в Израиле: там нет ни пьянства, ни расстрела. Марксизм — есть, социализм — есть, есть и коммуны (кибуцы). Но расстрелов нет, лагерей нет. Еврейское законничество не допустило их. Напротив, свобода от формальных ограничений, душевный размах — черты, которые в России развиваются в инородцах. В искусстве этот размах поражает, в карательной политике — шокирует.

Мне кажется, противоречие между размахом государства и размахом культуры можно проследить не только в инородцах. Основные особенности России — это не наследство словен и вятичей. Вятичи сами были схвачены историей за шиворот... И до сих пор противятся государству российскому. Во Льве Толстом, например, побеждает исконное тяготение к безгосударственной воле, в Достоевском дух империи сталкивается (и временами причудливо переплетается) с духом Христа. Большой близости между госу-

*) Раннее издание рассказа Бабеля цитирую по памяти.

**) Домохозяин, у которого снимал квартиру Бердяев, говорил ему «Самое грустное, Николай Александрович, что вы за Ленина отвечать не будете, а я за Троцкого буду»

дарством и культурой (высокой или народной) в России нет. Дух империи — не славянский дух: он унаследован от Византии, от Орды... Россия — не племя, не этнографическая единица. Если вы хотите восточнославянской этнографии, идите на Западную Украину, в Российской империи история мало что оставила от этнографии. Судьба России — в борьбе духов государственной и культурной системы, складывавшейся на перекрестке нескольких миров, все время в ломках, в перестройках — или в забытии после судорог. В этом пространстве живут большей частью русские, но не только. И каждый человек, попавший на русскую сцену, начинает играть русскую роль, кто бы он ни был: Фальконе, Фонвизин, Левитан, Бенкендорф, Френкель или Троицкий. Тот, кто ассимилирован русской культурой, становится вероятной жертвой; тот, кто ассимилирован российской политикой, — вероятным палачом. С одной стороны Мандельштам, с другой — Блюмкин; с одной — Пушкин, с другой — Аракчеев. Встреча Александра Исаевича с Ингалом и Гаммеровым, впервые повернувшими его в сторону веховских идей (ср. «Архипелаг», главу «Фашистов привезли») так же неслучайна, как неслучайны Ягода, Фельдман и Коган. Каждый российский *политический* деятель начинает танцевать под дудку имперского *уицраора* (чудовища из видений поэта-мистика Даниила Андреева) — или сходит со сцены. *

В те самые 20-е годы, когда (по Солженицыну) отри-

*) Я решительно неспособен усвоить взгляд на нынешнюю Россию как «колонию международного коммунизма». (Ср рецензию в «Континенте» № 10). Но перечитывая «Ленинградский Апокалипсис» Д Андреева, мне самому чудится, что Россия — «колония» какого-то могущественного имперского духа. В самом этнониме «русский» слышится плененность, *принадлежность*, а не самостоятельное бытие. Китаец, турок, немец, жид — все они обозначаются именами существительными, все суть сами по себе. Только русский — имя прилагательное. Были попытки ввести другие имена. русичи, россы, но они не привелись. Народ создает себя русским (барским, царским, казенным, русским). Русские не владеют Россией, они принадлежат Руси. Сами цари их, сам Петр — только орудия в руках уицраора. И началось это не в 1917 году, а лет на тысячу раньше. Меняются орудия; ослабевшая хватка сменяется новой, покрепче, но уицраор остается.

цались самые основы русской культуры, ленинский стиль работы был определен как «сочетание русского революционного размаха с американской деловитостью». Американская — это эвфемизм, престижное слово. Но сочетание русского с нерусским — довольно верная формула. И верно (хотя бы приблизительно), что русское здесь — размах (о нем же и Волошин), а деловитость — нерусская.

Общество, подавленное гнетом единовластия, десятилетиями, веками стоит перед задачей исторического обновления. И в конце концов, задача решалась одним человеком, получившим сгусток воли, которого хватило бы на миллион, решалась самодержавно, самовластно, — и не без самодурства *. Так Петр преобразил Московское царство в Российскую империю... Так Солженицын совершил свою литературную реставрацию монархии. Ему помогали собирать материал многие евреи, но Солженицын остался Солженицыным. Он не стал Солженицером.

Так в России вообще делается история. Русский народ трепещет и пятится перед грозным самодержавцем, который его режет на части, как Иванушку и спекает заново. Потом, когда спечется, — признает хозяина своим и служит верой и правдой. Но сперва пятится, ужасается, пытается даже бунтовать. Иван Грозный этого сопротивления земщины не осилил. Не хватило организационных сил. Опричнина — банда, шайка разбойников. Кромсать — сумели, сшить (по живому мясу, да так, чтобы швы не разошлись) — не сумели. Федька Басманов симпатичнее Лазаря Моисеевича Кагановича (паразитического, почти непостижимого для меня сочетания низкопробного лакейского холуйства с кипучим организаторским талантом). Но у мерзавца Кагановича поезда ходили по расписанию (как прежде у Клейнмихеля), а у Федьки летели бы под откос...

По мне, лучше бы эти поезда вовсе не ходили. Но я не мог удержаться от перифразы розановской апологии Клейнмихеля. Если Клейнмихель хорош, то и Каганович... Фауст давно, еще до советской власти, снюхался с чортом, и косточки строителей лежат по бокам не только Беломорско-Балтийского канала.

*) Ср у Пушкина о государственном деятеле и самодуре в Петре

Остается прибавить, что к началу XX века сложился тип русского Штольца и еврейского Обломова (веховца), еврейского Рудина... В содружестве Троцкого с Тухачевским или с С. Каменевым русский революционный размах был представлен Троцким, американская деловитость — военспецами. В сотрудничестве Ленина и Троцкого — трудно сказать... Оба были и размашисты, и деловиты. Но в некоторые решающие минуты Ленин определенно был деловитее, а Троцкий — чересчур размашист (в попытках создать трудармии, в переговорах о Брестском мире).

Все это до конца не распутаешь. Даже при простом влиянии одного на другого, тот, кто поддается влиянию, соучаствует в нем, иначе просто ничего не выйдет*. Но в русско-еврейских отношениях было не одностороннее влияние, а взаимодействие. Революционные ораторы, увлекавшие за собой колеблющиеся полки, пришли не из талмудторы, а из русского же освободительного движения; в свою очередь, русское движение загорелось от западного, и т. д. ...

В сомнении, — говорит Декарт, — надо воздерживаться; и не пытаться решить вопрос, недоступный разуму**.

Если ветер истории втягивает в свои смерчи то одних, то других, то в роли жертвы, то в роли палача, где найти

*) Я не мог убедить попутчицу (дочь начальника тюрьмы), что Сталин — изверг, заставил ее прекратить спор, но не сдвинул даже на один градус. Она молча смотрела на меня глазами затравленной волчицы.

**) Взгляд на историю, если он хочет быть определенным, содержит в себе (сознательно или бессознательно) какой-то масштаб пространства и времени, следовательно, он всегда относителен и условен. Сама история при некоторых масштабах исчезает во-первых, при очень малых, когда «довлеет дневи злоба. . .»; во-вторых, при очень больших, когда перед глазами безмятежного созерцателя гигантские чачели эволюции-инволюции, правритти-нивритти, разворачивания и сворачивания вселенных. Царство истории — это обозримая глазом сцена, антропоморфно великая, где единожды был распят и единожды воскрес Христос, единожды спасается или гибнет человеческая душа. В свою очередь это царство распадается на ряд княжеств, в каждом из которых свои законы, своя правда. Целостный взгляд во всех масштабах времени и пространства *доступен только Богу.*

Ему же только доступен ответ на вопрос «Кто виноват?»

народ без греха? Где найти того, кто вправе бросить камень? Если история — уголовное преступление, то все исторические народы заслуживают казни; и, может быть, она свершится, — в XXI и или другом веке. Только что здесь хорошего? Пусть лучше восторжествует не справедливость, а милость. И останемся со страданиями неотмщенными... или все погибнем.



Мне давно уже кажется, что губит не количество того или иного национального духа, а количество хамского духа. Какое-то время хамство активнее всего перло из разворощенных революцией местечек, потом — из раскулаченных деревень. «Там, где развитие происходит особенно быстро, в странах Центральной и Восточной Европы, позже вступивших на путь прогресса и торопившихся догнать и перегнать, рост хамства был особенно грозным. Он поставил под угрозу само существование европейской цивилизации». («Неопубликованное», стр. 212-213).

В этом, по-моему, суть проблемы. А об остальном можно спорить до бесконечности. Этническая и социальная история революции — неисчерпаемый предмет для историка и моралиста. Можно сказать, что еврей-революционеры способствовали разгрому старого образованного слоя, относившегося к ним довольно хорошо, и выдвижению наверх детей рабочих и крестьян, гораздо более расположенных к расовым стереотипам. Можно сказать и другое: что с крестьянами в 1929 году поступили примерно так же, как они сами в 1918 году поступили с помещиками и их слугами. Эту концепцию изложила одна старушка-уборщица (разумеется, без всякого понимания, что излагает концепцию, а просто рассказывая о своей матери, горячо верующей христианке, которой, однако, Бог не дал счастья). Отец Веры Ивановны служил у помещика «завхозом». Уезжая в Англию, помещик посоветовал ему помириться с советами. Но было поздно: крестьяне не простили, что стерег хозяйское добро, убили, а семью «раскулачили»: мать с малыми детьми выбросили на улицу, дом забрали, имущество все разграбили. «Потом их самих раскулачили», — эпически закончила Вера Ивановна.

Можно рассматривать многие страдания народов

нашей страны в целом, как расплату за излишнюю революционную активность, вызвавшую в европейском мещанстве встречную волну фашизма. Ну, и немцы поплатились, что поддержали Гитлера. Все в чем-то грешны. Все пострадали.

Можно сказать, что «экологический тупик» (о котором пишет Александр Исаевич в «Образованщине») — довод не только *против* (научно-технической цивилизации), но и *за* (советскую власть). Я признаю этот довод серьезным в обоих смыслах: с одной стороны, он ставит под вопрос мой тезис, что крестьянство при любой форме развития становится второстепенной общественной группой и не имеет смысла замыкаться в его проблемах. С другой стороны, если действительно нет другого выхода, кроме остановки роста (населения, экономики, расхищения недр), что, что может сделать это лучше, чем диктатура? И почему бы госпоже Истории не схватиться за орудие, которое под руками, — за советскую власть? Даже в самой ее жестокой, сталинской форме? Она уже доказала свою эффективность, притормозив рост населения. А в торможении экономики (при любых показателях в газетах) сталинская система обладала гигантским, до сих пор не вполне использованным потенциалом.

Я вижу бесконечную возможность самых неожиданных, пересекающих друг друга взглядов. Каждый из них истинен, как взгляд, как еще одна ниточка для ткани; каждый ложен, если заикнуться на нем и превратить в знамя, в боевой клич. Я не вижу ни интеллектуальной, ни нравственной возможности нового мифа об Авеле, который все претерпел, и Каине, который все погубил. Между тем, Александра Исаевича тянет именно к этому. И он очень сердится, когда ему противоречат. Стоит прикоснуться к «комплексу Авеля» (который открылся мне, к большому моему огорчению, в «Круге первом»), как вспыхивает гнев.

«Кто начинает раскаиваться первым, раньше других и полней, должен знать, что под видом покаянщиков слетятся и корыстные паче твою клевать» («Из-под глыб», стр. 136).

Это одно из мест, в которых высокий штиль стано-

вится надутым. Если клевать печень, то Горский — орел Зевеса. Если же корысть, то у Михалкова лучше: «А сало русское едят!»

Попытаюсь, однако, опять понять моего оппонента. Его воротит от стряпни поздних сталинских лет. Он считает сталинское восстановление в правах русского патриотизма как бы несостоявшимся — и заново проделывает то, что проделано было плохо, постыдно, и вступает в бой с остатками (и останками) интернационализма 20-х гг., словно это живой противник, словно перед ним не два-три пенсионера, давным-давно в отставке, а генеральная линия. Но генеральная линия давно не та... И борьба Александра Исаевича с интернационализмом перекликается с той самой официальной ложью, против которой он восстает. Разница только в терминах, потому что бывший интернационализм официально переименован в космополитизм, а сталинский пролетарский интернационализм требует защиты Советской России и русскими, и нерусскими (Зорге, например), требует борьбы с местным буржуазным национализмом и вообще отличается от первоначального интернационализма почти так же, как церковь — истинный Израиль — отличается от Израиля географического.

Александр Исаевич чувствует необходимость как-то пояснее отделить свой патриотизм от официального и пишет: *«Александру Невскому без креста подняться дали, но чему поближе — нет»* (стр. 249).

Я вынужден возразить: дали подняться и Суворову, и Кутузову, и Нахимову, и Брусилову (чего ближе!). По части военно-патриотического воспитания использовано решительно все. Кресту действительно не дали подняться, но не потому, что он национальный, скорее наоборот: смутно чувствовалась несовместимость двух универсальных символов, креста и красной звезды. Впрочем, некоторые второстепенные фигуры постсталинского сталинизма были близки к тому, чтобы и крест поднять. Ну и что, если бы вожди вняли «Письму вождям» и подняли над Архипелагом православный крест, — хорошо было бы? Или нет?

Я хочу, однако, задать совершенно другой вопрос: способствуют ли аргументы, развитые Александром Исаевичем в споре со мной и Горским, национальному раскаянию и самоограничению? Или, напротив, они скорее раскармливают

чувство национальной обиды, наподобие того, которое сложилось в Германии после Версаля?

В 1974 г., работая над эссе «Князь Мышкин», я писал: «Нет ничего страшнее *пострадавшего* человека, т. е. не просто страдавшего, а сосчитавшего цену своего страдания. Цена страдания неимоверна, и целого мира не хватит, чтобы рассчитаться. Пострадавшему человеку *все позволено*, и он это знает и позволяет...»

Я не приводил тогда русских примеров — только израильские и арабские*: мне казалось, что среди русских склонность считать себя пострадавшим *больше всех* менее распространена. Но вот Александр Исаевич пишет: «Татарское иго навсегда ослабляет наши возможные вины перед осколками Орды». Значит, можно извинить вывоз осколков Орды из Крыма? **

Правда, в контексте ужасная фраза звучит несколько менее ужасно: «*Татарское иго над Россией навсегда ослабляет наши возможные вины перед осколками Орды. Вина перед эстонцами и литовцами всегда больней, чем перед латышами и венграми, чьи винтовки довольно погрохали и в подвалах ЧК, и на задворках русских деревень (отвергаю неперенные здесь возгласы: „так это не те! Нельзя же с одних — на других!..“ И мы — не те. А отвечаем — за все“.* (стр. 141).

В контексте выходит: и они 600 лет виноваты, и мы. К сожалению, в еще более широком контексте, при перечитывании всей статьи, это впечатление исчезает: «*мы*» творили зло «*в массовом виде и преимущественно... не другим, а своим же, самим себе*» (стр. 126). Так что «*отвечаем за все, все*», сделанное русскому народу (в том числе своими же, т. е. интеллигенцией); а о других — стоит ли говорить!

*) Некоторые друзья очень упрекали меня за то, что я рассматривал Штерна и Хаббаша на одном уровне. Но для меня каждый Раскольников — свой. Мне за обоих стыдно.

**) Интересно сравнить все включающую Россию Блока со «стрелой татарской древней воли» в груди и все исключющую Россию Солженицына или ветхозаветную злопамятность — с евангельским прощением зла.

Подумаешь, масса — 20 000 человек вырезали, или 40 000 человек задохнулось в вагонах...*

Покаяние дается Александру Исаевичу в том случае, если нет никаких *взаимных* счетов: он кается перед малыми народами Сибири, перед горцами Кавказа, вспоминая «завоевательный русский натиск XIX века (вовремя и осужденный великими русскими писателями), выселение в XX веке» (стр. 138). Взгляд на горцев через «Кавказско-го пленника» и т. п. сочинения, сделавшие горцев симпатичными**. Если же народный стереотип татарина несимпатичен, то и Солженицын — со своим народом. Всюду, где возникают взаимные счета, дар покаяния оставляет Александра Исаевича и собственные порывы лагерных времен только смутно припоминаются. Совесть Александра Исаевича, такая чуткая, когда речь заходит о русском крестьянстве, мгновенно дубеет, как только речь заходит о татарском крестьянстве, глядящем на свой отобранный и одичавший виноградник.

В «Раскаянии и самоограничении» рассматривается один пример запутанных счетов — русско-польских. Общий итог явно не в пользу кичливых ляхов. *«Сколько и звучало с русской стороны раскаяния, начиная от Герцена, и как же едино было сочувствие полякам всего русского образованного общества, так что в кругах Прогрессивного Блока польская независимость не считалась меньшей целью войны, чем сама русская победа»* (стр. 138).***

*) Александр Исаевич упускает из виду, что счет на миллионы можно опрокинуть счетом на миллиарды. Около полутора или двух миллиардов азиатских крестьян получают меньше калорий и протеинов, чем закладывалось в «гарантийку» на ОЛП'е № 2 Каргопольлага в 1950-1953 гг. («Гарантийка» — система питания при хозрасчете, вместо «котловки». Каждый з/к получал гарантийный минимум ежедневного трехразового питания, одежды и т. п. За перевыполнение нормы платили деньгами) Индийский или китайский крестьянин и мечтать не могут каждый день есть рыбу (хотя бы в виде соленой трески, сваренной вместе с кислой капустой и крупой) А сейчас надвигается на них Великий Голод. Что же считать мировым злом?

**) Это не точка зрения русских жителей Грозного, бунтовавших в 1958 г. против возвращения чечен и ингушей.

***) Какой контраст с з/к Солженицыным, восхищавшимся польским гонимым и стыдившимся огчественной привычки к бесчестью¹ (ср. «Архипелаг», т. 3).

Факты на месте. Но, вероятно, поляк подобрал бы другие факты, а эти иначе интерпретировал. В 1914-1918 гг. все воюющие державы сулили Польше независимость. Германский блок, находившийся в трудном положении, даже выполнил свои обещания. Было достигнуто соглашение о преобразовании Австро-Венгрии в триалистическую монархию (Австро-Венгро-Польшу, с включением русской Польши, но не трогая Прусской). Польская фракция рейхсрата выступила в защиту проекта; чешские депутаты напали на нее за измену общеславянскому делу. Сейчас об этом мало кто помнит... Что касается 1863 г., то тогда «роковой вопрос» стоял иначе, и Герцен, поддержав поляков, потерял почти всех своих русских подписчиков...



Где те весы, на которых можно взвесить страдания хотя бы одного человека? Я не знаю; а Солженицын думает, что ему открыта мера страдания целых народов.

Фаваз Турки, защищая дело арабских палестинцев, занял гораздо более сильную позицию. Он пишет, что ему дела нет до того, как страдали другие; может быть и больше, но это *их* страдания, а он говорит о *своих*. Я был обезоружен такой честностью*. Но Александр Исаевич не говорит «какое мне дело»... Ему хочется быть справедливым судьей, но не отказываться и от роли истца. Ему хочется быть вездесущим и всеведущим, — а это еще никому не удавалось.

Александр Исаевич осуждает поляков за то, что они подавили крестьянское восстание под Уманью (стр. 139). Крестьянское, народное — значит справедливое. Речь идет, видимо, о гайдамачине. Но во время этого восстания Гонта и Железняк, взяв город, вырезали подчистую все неправославное население. Гонта, есаул польской службы, перешедший на сторону восставших, убил свою жену-польку и *священным ножом* зарезал собственных детей, рожденных от конфессионального позора**. (И нашелся же священник,

*) Хотя Турки честен не до конца историю арабо-израильских отношений он начинает с 1948 г., оставляя во мраке невыгодное (1929 г., 1936 г.) Ср. Turki F. The disinherited N. Y., 1972

**) Аналогичный термин, Rassenschande, был создан только в XX веке.

освятивший нож!). Короленко, сын украинца и польки, прочитав мальчиком об этом подвиге, был так потрясен, что отступился от рода и племени. «Моим отечеством, — пишет он, — стала русская литература» (в то время мало захваченная националистическими страстями).

Еще одна подробность: восстание подавили русские войска. Гонту выдали полякам, те с него живьем содрали кожу; Железняк сослали в Сибирь. Кому же каяться? И в чем? Полякам — что не простили Гонту? (Солженицын — простил бы?). Русским, что вмешались во внутренние дела Польши? Или восставшим крестьянам, — что вырезывали младенцев из чрева матери и зашивали туда живых кошек? Пример, избранный самим Александром Исаевичем, показывает, как трудно быть Богом и как недоступна человеческому уму и совести задача Всеведающего Судии. Боюсь, что о справедливой оценке прошлого даже труднее договориться, чем о границе на Голанских высотах. И Александр Исаевич подсознательно это чувствует. В том случае, где он действительно хочет только мира, а не мести, т. е. в русско-украинских отношениях, он решительно пресекает все счеты и наделяет оба народа равными мученическими венцами. Но может быть, стоит распространить принцип наибольшего благоприятствования и на другие народы? Сказано ведь: не судите, и не судимы будете...

Зачем вообще мешать чувство совинности с поисками чужих грехов? В 1944 году Александру Исаевичу было стыдно, что не помогли Варшаве. Мне тоже стыдно (наша дивизия стояла очень недалеко). В тот момент у поляков, задыхавшихся в канализационных трубах, не было ни прошлого, ни будущего. Было только сегодня. И в этом сегодня у нас с ними не было счетов. Наверное, среди Армии Краевой нашлись бы и юдофобы, и русофобы. Но какое это имело значение? Не больше, чем то, что мальчик, о котором рассказывает Иван Карамазов, мог бы впоследствии согрешить. Но вот не вырос — его затравили собаками.

Александр Исаевич пишет заглавными буквами: ЗА ГРЕХИ ОЦОВ. Это, действительно, древнее речение (из самых древних, обветшавших книг Ветхого Завета); но сила его не в древности, а в современности. Дж. Макдермот

показал, что понятие коллективной (национальной) ответственности появилось в XIX—XX веках даже в странах южного буддизма, буквально за волосы вытащенное из древних книг*. Подлинный дух, породивший идею групповой кармы, — дух национализма. Вырвавшись на улицу, этот дух перестает искать *морального* удовлетворения (как в сочинениях А. И. Солженицына) и становится попросту погромным. В 1969 г., после поджога мечети Аль-Акса, в Индии происходили демонстрации солидарности с арабами. Мусульмане вылезли из своих щелей и вышли на улицы. Одна из демонстраций столкнулась со стадом священных коров; корова кого-то боднула, ее ударили, пастухов побили. В ответ индуистская чернь превратила в писсуары несколько десятков мечетей и могил святых, несколько сот мусульман вырезали. А индуистские поручики Келлеры писали в индуистских черносотенных листках, что наконец взят реванш за мусульманское завоевание Гуджерата (1000 лет тому назад).

Я думаю, что справедливых счетов между народами не может быть. Есть только *сон* о справедливом возмездии. И посылает этот сон дьявол.

Нельзя смешивать со счетами (кто меньше, кто больше виноват) чувство личной совинности. Оно ничего не подсчитывает и не взвешивает. Это чувство *моей* совинности, а не *его, их* совинности. Я знал человека, сознававшего себя на скамье подсудимых вместе с Эйхманом (хотя он вырос в России и был всего лишь выходцем из немецких дворян). Встречал шведа, для которого Сонгми стало его личным грехом (преступлением всей белой расы).

Во время дела врачей меня буквально засыпали извинениями русские товарищи по лагерю: им было стыдно. Но многие друзья не стыдились и не извинялись: они просто не чувствовали себя частью русского *государственного* целого; они были, как и я, «врагами народа», «фашистами». Я понимал и тех, и других. Стыд, как и любовь, глубоко индивидуален. Полюбится сатана пуще ясного сокола.

*) McDermott J. P. Is there group karma in Theravada Buddhism? - «Numen», Leiden, 1976, vol. 23, N 1, p 67-80.

И так же невзначай охватывает совиновность. Это нельзя навязывать. Это обходит логику. Мне кажется чудовищным, что для Александра Исаевича Гюзелъ за Мамаю виновата (даже через 600 лет); хотя Матрена Васильевна за рязанского князя Олега (союзника Мамаю) не виновата. К сожалению, очень многие согласятся с Солженицыным, а не со мной.

Чужой виноват уж тем, что он чужой. Быть чужим безнравственно.

Грустно видеть, как бывшие участники строительства котлована, на миг объединенные общим языком революции (интеллигенты и рабочие, русские дворяне и еврейские портные) поодиночке пытаются выкарабкаться со дна вавилонской ямы, каждый схватившись за свою луковку и по-прежнему, как в ожесточении 20-х и 30-х годов, спихивая вниз других грешников. Хотя и в христианском варианте про луковку (из «Братьев Карамазовых»), и в буддийском варианте легенды про паутинку, брошенную Буддой разбойнику (с седьмого неба в тридесять ад), паутинка (луковка) от этого рвется.

СОЛЖЕНИЦЫН В ЦЮРИХЕ

Смягчился ли дух Солженицына за рубежом? Или стал еще жестче, еще однозначнее в своих убеждениях и пристрастиях?

Остановлюсь на двух документах: ответе Сахарову («Континент», № 2) и книге «Ленин в Цюрихе».

Общий тон солженицынской полемики с Сахаровым — образцовый: мягкий, вдумчивый... Читая «Глыбы», я завидовал Сахарову (вот бы и со мной, и с другими образованцами так же!) Но вся мягкость исчезла, как только Сахаров затронул национальный вопрос.

«Я хочу напомнить А. Д., что «ужасы гражданской войны» далеко не «в равной степени» ударили по всем нациям, а именно по русской и украинской главным образом. Это в их теле бушевала революция и сознательно направ-*

*) Андрею Дмитриевичу Сахарову.

ленный большевистский террор; большинство нынешних республик было в отпавшем состоянии, а остальные малые народы до поры щадились и поддерживались по тактике коммунизма, использовались против главного массива. Под видом уничтожения дворянства и купечества уничтожались больше всего русские и украинцы. Это их деревни более всего испытали разорение и террор от продотрядов (большей частью инородных по составу). Это на их территории было подавлено более 100 крестьянских восстаний, в том числе обширные Тамбовское и Сибирское. Это они умирали в великие искусственные большевистские голоды 1921 на Волге и в 1931-32 на Украине. Это в основном их загнали толпою в 10-15 миллионов умирать в тайгу под видом «раскулачивания».. (Как и сейчас нет деревни беднее русской). А уж русская культура была подавлена прежде и вернее всех: вся старая интеллигенция перестала существовать, эпидемия переименований катилась, как при оккупации, в печати позволено было глумиться и над русским фольклором, и над искусством Палеха, и от ленинским «шовинистической великорусской швали» родилась дальше волна беспрепятственных издательств: «русонятство» считалось литературно-изысканным термином. Россия печатно объявлялась призраком, трупом, и ликовали поэты:

*«Мы расстреляли толстозадую бабу Россию,
Чтобы по телу ее пришел Коммунизм-мессия...»*

И так вьюжило лет пятнадцать – и никто, нигде, ни у нас, ни за границей не предположил и не обмолвился, что в Советском Союзе существует какое-либо «национальное угнетение». И лишь с конца 30-х годов, когда два наибольших народа были уже убиты, и по социалистической переменной тактике... пришло время перенести давление на малые народы, – только с этих пор услышали мы о национальном угнетении в СССР, что тоже совершенно верно». («Континент», № 2, стр. 357-358).

Честно говоря, тезис Сахарова, – что все страдали одинаково, – так же недоказуем, как тезис Солженицына. Но с этической точки зрения Сахаров выступает как христианин, отбрасывающий все счеы, а в инвективах Солже-

нищина дышит ветхозаветное — око за око, зуб за зуб, — пробившееся сквозь решетку христианских принципов.

Горячка сказывается и в мелочах стиля: («А. Д.», некогда было полностью выписать: Андрей Дмитриевич), и в неосторожности формулировок: в «отпавшем состоянии» довольно долго были Прибалтика и Западная Украина; им досталось позже, Республики Средней Азии получили свое при подавлении басмачества. А еврейские местечки Украины рады бы отпасть, но куда? Едва успевали отдышаться после одного батьки, как налетал следующий*.

Во-вторых, слишком смело утверждать, что продотряды не в некоторых случаях, а «большой частью» инородные по составу. Кто этот состав посчитал?

В-третьих, можно ли характеризовать эпоху парой забытых строк? **

Для русской поэтической культуры разрешение печатать хорошие стихи было гораздо важнее, чем запрещение печатать плохие. А в 20-е годы хорошие русские поэты еще печатались. Пресекались они позже, под хор славословий великому русскому народу.

В 20-е годы несомненно дозволялся (и даже поощрялся) известный сорт национального нигилизма; например, у Маяковского:

Россия! Огромный
Знак погромный...

Но тот же Маяковский печатал и громогласно читал в Политехническом музее другие стихи:

Я русский бы выучил только за то,
Что им разговаривал Ленин!

Ругань по адресу России относилась, по большей части, к старой, царской России; а если ругали или недооценивали новую, советскую Россию, то это был не интерна-

*) Евреи «отпадали» (главным образом в Америку) с конца XIX в. Но как раз в революционное время все пути к отпадению были перерезаны. Оставалось только поддерживать советскую власть (она прекращала погромы). Хотя эта власть вовсе не «щадилась» евреев. Присутствие их в аппарате ЧК вовсе не означало отсутствия их в подвалах ЧК.

**) Пародийно повторяющих А Белого «Россия, Россия, Россия! Мессия грядущего дня!»

ционализм. Именно против него направлено стихотворение Маяковского: «им рамки русского узки: с казанской тифлисской академия переписывается по-французски!» Почти как Грибоедов — про французика из Бордо. Хотя с последовательно интернациональной точки зрения, почему бы и не писать по-французски?

В-четвертых, «и сейчас нет деревни беднее русской». Но турецкие крестьяне в бывшей Османской империи тоже были беднее предприимчивых армян и греков. И сейчас, через полвека после окончательного решения христианского вопроса, анатолийская деревня не разбогатела. Одна из основных статей экспорта Турции — чернорабочие, собирающие мусор на улицах немецких городов и отсылающие домой заработанные марки. Крестьянство господствующей нации феодальной империи воспитывалось в духе воинских добродетелей, а перейти от фатализма воина к психологии дельца — нелегкое дело.

Создание империи — дело опасное, сплошь и рядом оно кончается гибелью имперской нации (римлян, например), или, по крайней мере, резким ее оскудением (монголы, испанцы). Избыток власти и территории губит так же, как недостаток ее. Маленькие нации остро сознают опасность исчезновения, сжимаются в комок — и сохраняются. Мордвины, например, неохотно уезжают из своих деревень, и мордовские деревни богаче русских. Русские крестьяне легко уезжают в города (им всюду Россия), и от этого русские деревни пустуют, разоряются...

Наконец, в 1923-1928 гг. над народом вовсе не вьюжило. Деревенские церкви не закрывались. Сектантам (в пику православным) прямо покровительствовали. Экономика деревни еще не была подорвана. И Охотный ряд ломился от ее произведений, добровольно, за наличные проданных купцам.

В двадцатые годы изымались из библиотек многие хорошие книги — но не только русские. Под запрет (или полузапрет) попали целые языки: иврит, тюркй (общий литературный язык тюркских народов). И если высылка за границу хорошего театра на языке иврит, «Габима», была делом самих евреев, то запрет тюрки, осуждение идеи культурной общности тюрков и коммунистической

федерации тюркских народов был решением Ленина, продиктованным государственными интересами России: тюркская федерация, включая Башкирию и Татария, разрезала бы Россию надвое, отделив европейскую часть от Сибири. Султан-Галиев, ратовавший за татарское самоопределение, был осужден, и термин «султангалиевщина» стал бранным словом (наподобие «образованщины»). Татария и Башкирия получили статус *автономных* республик в рамках РСФСР (т. е. без права выхода). Остальные тюркские народы разделены друг от друга стенками языков (часто ничуть не более разных, чем диалекты Италии или Германии) и поодиночке втянуты в равноправный диалог с русской культурой (имевшей перед ними огромную фору, даже в гуманитарной области, не говоря о научно-технических дисциплинах). Всеобщая грамотность, начинавшаяся в начальной школе с местного языка, оказалась первой ступенькой к русскому языку (неграмотные были неграмотны по-тюркски). Результат налицо: *русские* писатели и поэты: Ч. Айтматов, О. Сулейменов и др. «Веч» посвятило 50-летию Союза статью «Русское решение национального вопроса», и это не было лицемерием.

В 20-е годы подрезались *религиозные* корни всякой культуры. Я об этом писал в статье «По поводу диалога». Но здесь опять пострадало не только христианство, и не оно больше всех. Среди моих знакомых есть старые интеллигенты, сохранившие верность православию; ни одного — сохранившего верность иудаизму. Образованные евреи сплошь стали атеистами, а когда их захватывала встречная волна возвращения к вере, — попадали в орбиту христианства. За отсутствием статистики могу оперировать только личными впечатлениями: я знаком с евреем-священником и с несколькими евреями-православными, прихожанами, одним адвентистом и одним католиком. Иудеисты начали мелькать в поле моих связей только после 1968 г., на волне сионизма. Как правило, они начинали с христианства и переходили в иудаизм либо в Израиле, либо по дороге в Израиль, или вообще не были религиозными людьми, а соблюдали *национально-религиозные* обряды. Думаю, что честная социологическая анкета показала бы,

что среди интеллигентной части московских евреев и сейчас православных больше, чем иудаистов. Это — результат ленинской национальной политики 20-х гг., результат религиозного самоуничижения. Хотя продолжение нынешней национальной политики и полемика с воскресшим русским национализмом, и советским, и несветским, от А. Солженицына до В. Осипова, будит в еврее еврея и создает благоприятные условия для возрождения еврейской религиозной обособленности (видимо, исторически еще не исчерпавшей своих задач).

Мне кажется, меньше всего пострадал ислам. Сверху на него давили так же, но народы ислама не торопились отречься от своей веры. Быть может, «реакционной идеологии панисламизма и пантюрксизма» (как ее называют в наших брошюрах) предстоит некоторое будущее. Какое-то будущее предстоит и народным русским сектам (баптистам, адвентистам и пр.). 20-е гг. сильно подорвали монополию православия. Но не была ли она искусственной, определенной скорее государственным решением, чем выбором совести?

В 20-е гг. начался духовный упадок, связанный с распространением вширь и вульгаризацией культуры, но было и замечательное сопротивление упадку. В некоторых областях можно даже говорить о расцвете (лирика, театр, кино). Шли разные, отчасти противоположные процессы. Разумеется, в начале «вьюжило». Но наивно считать, что русские попали под иностранный гнет. Попробуем приложить модель Александра Исаевича к другим странам: разве нельзя назвать иностранным гнетом диктатуру Робеспьера? Разве под видом аристократов и священников не уничтожалась французская нация, в особенности цвет ее (Лавуазье, Шенье)? Разве не подавлялись крестьянские восстания (в Бретани, в Вандее)? Разве не упразднены были провинции, каждая из которых была исторической народной личностью, и не заменены были безликими департаментами? Разве эпидемия переименований не захлестнула даже календарь?

А Кемаль Ататюрк? Какая иностранная оккупация могла так порвать с турецким прошлым? А Мао Цзе-дун? Разве конфуцианский Китай не угнетен был нацией хун-

вейбинов? Разве тайваньская пресса не открыла перед всем миром подлинное лицо бандита Мао — агента Москвы? И разве потом, после разрыва с Москвой, та же пресса не заклеила Мао, как агента международной еврейской плутократии? Сторонникам Чан Кай-ши догматически очевидна не китайская сущность Мао Цзе-дуна. Но какая же она, если не китайская? Русская? Александр Исаевич не согласится. Еврейская? Пожалуй, и евреи не согласятся? Куда же девать великого кормчего?

И куда мы подведем своего собственного царя-большевика, Петра I ?

Мне кажется, простой перечень фактов доказывает (*ad absurdum*), что перелом традиции может быть совершен без интернационализма и коммунизма, а кое-где и без инородцев, одними местными силами.

Следуя (может быть, бессознательно) К.Марксу и Фридриху Энгельсу, Александр Исаевич рисует коммунизм, как призрак, который бродит по России, сперва пользуясь услугами малых народов, потом, «когда два наибольших народа были уже убиты», воплощаясь в их трупы, чтобы, подобно вампиру, высасывать кровь из живых. В этой картине есть своя мрачная поэзия (в духе Абрама Терца). Если старая интеллигенция, «переставшая существовать», продолжала сочинять стихи, ставить постановки и создавать картины, оставшиеся на память о недолгом проблеске 1922-1928 гг., то почему другим мертвецам не выстоять в войне 1941-1945 гг.?

Я ничего не имею против рассмотрения призрачных и трансцендентных аспектов коммунизма. Однако мне кажется, что духи, действующие в истории, обычно находят индивидуальное воплощение; и наиболее полным личностным воплощением русского коммунизма был Ленин (остальные вожди коммунизма, судя по завещанию Владимира Ильича, — не совсем полноценные большевики). Кто же такой Ленин?

В книге «Лефин в Цюрихе» заглавный герой думает о себе так: *«И зачем он родился в этой рогожной стране? Из-за того, что четверть крови в тебе русская, из-за этой четвертушки крови привязала судьба к дрянной российской колымаге! Четвертушкой крови, но ни характером, ни*

волей, ни склонностями нисколько он не состоял в родстве с этой разлапистой, растяпистой, вечно пьяной страной. И что его связывало с этой страной? Да не хуже, чем этим полутатарским языком, он овладел бы и тремя европейскими... Вот уехал Троцкий в Америку – правильный выбор. И туда же Бухарин. Наверное, и надо в Америку» (стр. 87).

Мне кажется, что Ленин так не думал. Здесь снова (как иногда в «Круге») за героем высовывается автор, занявшийся (к нашему общему стыду) исчислением четвертинок. Коли на то пошло, русский престол занимали и с меньшими дробями. В последнем русском императоре, потомке Петра I в седьмом поколении, достоверной русской крови была единица, деленная на двойку в 1-й степени, т. е. одна сто двадцать восьмая. Предлагаю читателю самому перечислить русских императоров, начиная с Петра III, внука Петра I. Правда, подсчет условен: возможны недостоверные примеси за счет женских слабостей цариц. Все же в любом случае Владимир Ильич Ульянов, с российски-расистской точки зрения, гораздо полноценнее Николая Александровича Романова.

Но Александр Исаевич настолько ненавидит Ленина, что никакие доводы не имеют цены. Ленин нерусский – и все тут. Он Россию не знает, Россию ненавидит; русский язык называет полутатарским и власть в России захватил с помощью иностранных штыков. В порыве покаяния Александр Исаевич признает родную кровь и в гебешниках*. Но Ленин – мало того, что нерусский. Он еще ничтожество, марионетка, которую дергает за веревочку умный еврей Парвус. Таким образом, русское алиби доказывается дважды. Парвус – это ведь не просто Парвус, а Гельфанд. И он «еще в Одессе, при Александре III, сформулировал

*) В «Архипелаге», т. 1, гл. 4 – «Голубые погоны». На самом деле погоны внутренних войск – синие: голубые – у летчиков. Видимо, бессознательно давит литературная традиция, та самая, которую Солженицын сознательно отрицает

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ!

задачу, что освобождение евреев в России возможно только свержением царской власти» (стр. 101).

В ходе доказательства русского алиби нужен был яркий, блестящий Парвус. И талант, взывав, действительно создал яркий образ (не то, что с Френкелем, где ум мешал; не то, что с Лениным, где талант иногда подсказывал живые черты, а потом ум перебивал и все портил).

Я уже собирался бросить книгу, как дошел до Парвуса. Тут сразу стало интересно читать, хоть десяток страниц. Характер Парвуса, кажется, первый отрицательный персонаж Солженицына, не лишенный обаяния... Тогда как Ленин Солженицына не идет ни в какое сравнение с образом, нарисованным Валентиновым во «Встречах с Лениным». Несмотря на то, что литературный талант Александра Исавича, несомненно, больше. Мешает — «пена на губах»*, пароксизм ненависти.

Соберем, однако, вместе все то, что Александр Исавич сообщает о Парвусе. Про освобождение евреев мы уже знаем. Текст в целом мне недоступен; еще менее доступна психология юноши Парвуса, скорее всего — усердного читателя Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева (Чехов свидетельствует, что в губернских и уездных читальнях сидели, большей частью, молодые евреи). Не могу судить об удельном весе еврейского национального мотива в сознании будущего революционера-интернационалиста: основная это мысль или «двойная», сопутствующая? Но вот еще несколько блестящих (во внутреннем монологе солженицынского Ленина):

«И об империализме он, по сути, успел сказать все раньше Ленина. А иногда чушь какую-нибудь что вся Европа ослабнет и зажмется в тисках между сверхдержавами, Америкой и Россией; что Россия — новая Америка, ей только не хватает школ и свободы» (стр. 101). И еще раз в примечании о Парвусе в 1918 г.: «... стал напа-

*) Напоминаю смысл этого термина «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое и правое дело .»

дать на Ленина (впервые). Считал опасным, что большевики делают из России сильную военную державу» (стр. 235).

Думаю, этого довольно. Видна блестящая голова, сноп идей, фейерверк мыслей. А постоянство? Никакого. То Парвус исходит из интересов евреев, то (видимо, под влиянием 1905 г.) поверил в Россию, отождествил себя с ней; то разочаровался, стал германофилом и Ленина выдвигал для развала России. Ну и промазал, правда, понял это довольно быстро. Некоторые до сих пор не могут понять.

Такие разбросанные умы, как Парвус, никогда не побеждают; побеждают заикленные на одной идее. Побеждают — не всегда так, чтобы стать главой правительства. Можно победить повешенным, сожженным. Историческому деятелю победить — значит оставить на челе истории свой след. И госпожа История не забывает своих страстных любовников, заносит их имена на свои скрижали. А что Ленин не был великим мыслителем, то он, кажется, и сам не претендовал. Ленинский этап в философии придуман уже Сталиным. Очень может быть, что Ленин, как мыслитель, уступал и Парвусу. Не в этом суть. Суть в том, что имя Ленина нельзя вычеркнуть из русской истории — так же, как не вычеркнуть из нее Солженицына. Никакими четвертинками (действительными или мнимыми) меня не убедишь. Четвертинки важны были в Америке, где дочерей президента Джеферсона, голубоглазых, белокурых квартернонок, продали в публичный дом, потому что в них была четвертинка черной крови, а законодательное собрание штата Джорджия не утвердило вольной покойного президента: это потрясло бы священные основы Архипелага. Четвертинки важны были в гитлеровской Европе, потому что половинки убивали, а с четвертинками по большей части не трогали. Но в старой России можно было знать про свою нерусскую маму и в то же время чувствовать себя на все 100% русским (как Герцен, Фет, Флоренский).

Важны не четвертинки, а то, что Ленин сам считал себя русским*. Иноходец, с детства чувствовавший на себе

*) Валентинов особо отмечает русский дух в доме Ленина.

косые взгляды шовинизма, не решился бы претендовать на всю полноту власти (некоторые меньшевики прямо объясняли этим свое поведение).

В 1917 году инородец Церетели задал вопрос: есть ли такая партия?.. Предполагая, само собою, что нет. Так дружно считали все Абрамовичи, Даны, Либеры, Мартовы, Церетели, Чхеидзе. Только русский, чувствовавший себя в России дома, уверенный, что шапка Мономаха ему впору, мог ответить: есть такая партия! Даже не обсудив перемены тактики с ЦК, и не смутившись, что реплика его вызвала в зале смех. Хорошо смеется тот, кто смеется последним.

Да, говорил Ленин все то, что Александр Исаевич цитирует*, а кроме того, о национальной гордости великороссов (шокировав молодого Бухарина), о Владивостоке — «городе нашинском» (тоже больно ударив по интернациональным сердцам) и прочее. А еще важнее то, что Ленин делал (потому что он прежде всего *деятель*): собирал Российскую империю, взорванную революцией, в Советский Союз. И когда злился на «шовинистическую шваль» (действительно, злился), то потому, что она мешала дело делать.

Невозможно представить себе единую и неделимую империю в мире, где одна за другой распадались *все* империи. На каком-то время — пожалуйста, лет на 20-25, до следующего толчка; а после ленинской реорганизации русская власть шагнула до Эльбы — так, как и предсказано было в стихотворении «Русская география»:

Москва, и град Петров, и Константинов град —
Вот царства русского заветные столицы...
Но где предел ему? И где его границы
На Север, на Восток, на Юг и на Закат?
Грядущим временам судьбы их обличат...
Семь внутренних морей и семь великих рек —
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая —
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...

*) Кстати. «великорусской швалью» Ленин бранил Сталина и Дзержинского. Увлечись полемикой с Лениным, можно дойти до защиты Сталина.

Вот царство русское... И не прейдет вовек,
Как то провидел дух и Даниил предрек.*

Славянофильская фантазия 1848 года точно соответствует реальным границам советско-русской сферы влияния 1976 г. Разве что Анголы не хватает.

Мне кажется, что только Ленин (и решительно никто, кроме него) был человеком, способным заложить основы этого. Именно потому, что он о единой и неделимой России не говорил и (словами) даже не думал. Именно потому, что его лозунгами были интернационализм, мировая революция и борьба с великодержавным шовинизмом. Без борьбы с великодержавным шовинизмом решительно невозможно было восстановить фактическую русскую власть над Украиной и Грузией. А до идеи упразднить империю Турбины еще не дошли. Они предпочли красных (с комиссаром Абрамом Пружинером, но с русской столицей и русским языком) – Симону Петлюре**.

Большевизм – это ленинизм. Большевики – ленинцы. Обе фразы – цитаты из словаря синонимов. Но почему? Почему меньшевики – не мартовцы, не плехановцы?.. Почему Троцкий-меньшевик был просто Троцкий? Почему троцкизм возник в рамках большевизма, среди большевиков? Почему после удара, приковавшего Ленина к постели, возник и сталинизм, с ориентацией на другого вождя, но опять – с культом личности? Видимо, ориентация на вождя – одна из постоянных черт большевизма. Большевизм был восстановлением русских традиций сильной власти в форме и в рамках международного социал-демократического движения. Старые большевики – столько же западники (продолжатели социал-демократических традиций), сколько славянофилы. К ним можно применить слова Плеханова: «По методам своим Петр был славянофил».

*) В дореволюционном томике Тютчева рядом с этим помещено стихотворение «Море и утес», по свидетельству Н. К. Крупской – особо любимое Лениным.

**) Если читатель хочет ссылки на исторический факт (Турбины – факт литературный), то можно вспомнить Брусилова, призывавшего офицеров идти в Красную Армию, воевать за Украину. Для Брусилова (как, впрочем, и для Солженицына) Украина – часть единой православной России.

Болшевизм был (в зародыше) системой власти, способной укорениться в России, и Ленин знал это, когда говорил: «Есть такая партия!» Большевизм имел *почву*. Меньшевики, эсеры, кадеты и прочие *почвы* не имели. А без почвы можно философствовать (как я, например), но беспочвенная политика — сапоги всмятку...

Ленин в Цюрихе и Солженицын в Цюрихе внутренне подобны, как День и Ночь Микельанджело, как ярость иконоборцев и ярость царицы, ослепившей сына и казнившей 100 000 человек, чтобы восстановить почитание икон (Церковь признала Ирину святой); как ярость реформации и ярость контр-реформации; как ярость Петра и ярость Аввакума. Такова в особенности русская история.

СКВОЗЬ ИСТОРИЮ

Поставим теперь вопрос: способны ли герои русской истории (и мировой истории) решать современные проблемы? Или исчерпанность героизма — признак исчерпанности истории? Не обязательно в смысле Апокалипсиса (хотя возможно и это); мыслимо и другое: переход в следующий класс, когда время не перестанет быть, но утратит свое бытийственное первородство. Когда история не прекратится, а станет из главного предмета — второстепенным, необязательным. Бушмены так и не перешли в класс истории и сейчас, так же, как 10 000 лет назад, дудят в свои этнографические дудочки. Мы смотрим на них свысока, но наша заикленность на истории не менее смешна и наверняка опаснее. В классе этнографии можно просидеть 25 тысяч лет, а история — плаха народов. Исторические народы и цивилизации гибнут, как мотыльки. Лев Николаевич Гумилев подсчитал, что в среднем за 1000-1500 лет. И сейчас вся мировая цивилизация, не успев толком сложиться, — на пороге гибели.

Когда гаснут отдельные народы, с этим можно примириться. «Народы умирают, чтобы жил Бог». Цивилизации в корчах своих рождают новое, более чистое понимание религиозной истины (Тойнби). Можно даже примириться с судьбой Иова: без нее не было бы книги Иова, и с гниени-

ем заживо Испании XVII в. (без него не было бы Кальдерона); и с судьбой России (без нее не было бы Достоевского). Растерзанная Иудея внесла больший вклад в царство Духа, чем имперский Рим. Однако сейчас речь идет о глобальной цивилизации; если она погибнет, что останется?

Я не думаю, что открытие истории, раз сделанное, когда-нибудь забудется. Но что это такое, история? Куда она ведет (не куда ведет отдельное событие, но история в целом)? Э. Вейль, статья которого попала мне под руку и вплелась в мои рассуждения, пишет: «Мы ищем и ждем мира без кризисов и необходимости прорывов, устойчивого мира, где только вечно повторяющееся имеет значение, — словом, мира, который мы оставили позади, когда начали становиться историчными. В конечном счете, история, от кризиса к прорыву и новому кризису, множит абсурд, насилие и беззаконие. То, что мы пытаемся преодолеть в истории, есть сама история. От Платона до Маркса и дальше, смысл истории определяется... как *конец* истории; ее цель и финальная сцена достигаются последним прорывом, в мысли и в действии, после которого никакой другой прорыв уже не нужен, и даже невообразим».

Тревога, вошедшая в сердце Запада, вызвала взрыв деятельности, объединившей человечество материально. Это новая ситуация, которой раньше не было. Но дальше западный динамизм не способен вести. Духовные шаги к вселенскому братству могут совершиться только в покое, в остановившемся времени. Человечество (европейское и европеизированное) либо заново откроет ценность неисторических измерений бытия, либо срезано будет на экзамене экологического, демографического и еще какого-нибудь кризиса. Движение вширь должно уступить место тихому движению внутрь. Дихотомия героя и подвижника, выведенная С. Булгаковым из наблюдений над русской революцией 1905 г., кажется мне ключом к судьбам всего человечества.

История подходит к концу и герои подходят к концу. К сожалению, героическая натура Александра Исаевича не в состоянии этого вместить. Даже цитируя С. Булгакова, он не относит его слов к себе (а только к тем, прошлым,

неправильным героям). От этого и мои попытки развить идеи Булгакова в «Человеке ниоткуда» Александр Исаевич не захотел понять. Я думаю, именно *не захотел*. Мы всегда втайне не хотим понять то, что нам было бы тяжело и неприятно понять, я имею в виду: понять изнутри, т. е. до некоторой степени влезть в чужую шкуру. Я, например, не понимаю Сталина, Молотова, Кагановича и многих других, потому что не могу собраться с силами влезть в их душу, а потому не понимаю и людей, любящих Сталина, и не могу их переубедить...

Мне кажется, что в «Человеке ниоткуда» я сделал попытку выйти за рамки дихотомии герой-обыватель. Александру Исаевичу это не показалось, и он не столько выписывает, сколько вписывает другую мысль, удобную для разноса. Скорее всего потому, что думать о том, про что я думаю, ему неприятно. Он твердо знает, какие герои правильные и какие неправильные. Правильных он увенчивает, неправильных развенчивает. А по-моему, все герои несколько неправильные. Я признаю, что они герои — и красные, и белые; и деды-революционеры, и внуки-диссиденты. Но в мои рассуждения о них все время вплетается ирония, вплетается стремление выйти за рамки героических задач и характеров.

Александру Исаевичу кажется, что ирония ни к чему. Режьте правду напрямки, отбросьте страх — и вы на верном пути. По-моему, эта простота очень даже коварна. Стоило бы подумать, почему призывы к храбрости не всегда доходят до ушей. Почему в 1943 г. новобранцев легко было убедить, что немцев бить — это наше исконное дело (сам их уговаривал и удивлялся, как легко верят). И почему в 1946 году боевые орлы куда-то исчезли, растворились в тумане... Во всем этом, видимо, есть своя закономерность. Даже сейчас, в мирное время, без крутых переломов, стоит «образованцу» стать сионистом, как его словно подменили. Не только беседой с парторгом, расстрелом нельзя напугать. Видимо, потому, что уехать из России — дело рискованное, но сбыточное. На риск многие готовы. А вот преобразовать Россию... Тут одной храбрости мало. И главное, — неизвестно, к чему она приведет, эта храбрость.

Нет, без иронии никак нельзя. Ирония — это даже лучше, чем *habeas corpus act*. Ирония освобождает от фанатизма. Ирония помогает мне понять: все, что высказано, не может быть совершенной истиной; все, что есть, не может быть совершенной ложью; никакие идеи не оправдывают «пены на губах»...

Ирония — спутник демократии. Журналы, в которых попадают карикатуры на своих собственных премьеров, — все без исключения издаются в странах с парламентской системой. И наоборот: достаточно взглянуть на торжественно серьезное и возвышенное лицо лидера, глядящее на нас с первой страницы еженедельника, чтобы не задавать больше никаких вопросов. И без того ясно, что искусство в такой стране служит народу и «на фронте рыбной промышленности пылает чувство преданности вождю»*.

Иронии не все подвластно. Есть глубины, на которых она замолкает, но я думаю, даже в сфере святого много доступно иронии (в этой области она называется юродством).

Однако шире всего права иронии в граде земном. Всякое человеческое величие достойно смеха, напрашивается на смех; иначе оно становится чудовищным. Ирония — замена остракизма, которым афинская свобода неуклюже пыталась спастись от своих собственных героев. Ирония — то, чего решительно не выносит восточный деспотизм. И в нежелании Александра Исаевича понимать иронию (мою или Синявского, — в «Литературном процессе») мне чудятся традиции самодержавия, для которого насмешка — слово и дело государево, оскорбление величества, контрреволюционная агитация и пропаганда.

Некоторых удивило и возмутило «Письмо вождям». А мне оно кажется очень естественным: нет ничего странного в том, что Александр Исаевич как вождь с вождями говорит. Он и есть народный вождь (в переводе на язык веберовской социологии — харизматический лидер). Не по должности, а по складу ума и характера (Лир и в степи — король). И зачем ему свобода слова для других, зачем ему

* Подлинный заголовок статьи (1974 г.).

диалог? Не искать истину он пришел, а утвердить ее. Многих людей пророческий тон увлекает, покоряет; меня отталкивает, вызывает на защиту своей независимости.



И вдруг, в каком-то повороте, история, сквозь которую я пытаюсь прорваться, снова приобретает власть надо мной. Подобно старцам Гомера, порицавшим Елену, я замолкаю, увидев царицу во всем блеске ее красоты; и мужество Солженицына срывает невольную дань восхищения. Я думаю, обаяние его, при всех огромных недостатках, примерно такого же рода, как обаяние Ленина, о котором писал Валентинов: обаяние творческой силы, веры в себя и свою способность править миром. Обаяние «буйного волюнтаризма» (Валентинов).

Я пытался показать, что многие суждения Солженицына неразумны и опасны. Но в них есть какая-то правда. Чувство жизни, высказанное в абсурдной форме, может быть не менее значительным, чем выраженное логически безупречно. Скажу больше: некоторая степень логической ошибки необходима для эмоционально заразной речи. Гиперболы и литоты совершенно *правильны* в поэтическом тексте. Недопустимы они только со строго научной точки зрения, но я на ней не стою. Я только за то, чтобы *понимать*, когда ты отшвыриваешь в сторону разум, и не приписывать неправильностям, языком которых говорит страсть, доказательной силы (сила их – выразительная).

Рассуждения артиллерийского поручика графа Льва Николаевича Толстого вызывали взрывы иронии у мыслителей серебряного века. Но после всех взрывов, нелепости, высказанные Толстым, сохранили смысл и до сих пор комментируются. Они интересны потому, что до этого графа у нас не было артиллерийского поручика в литературе, они суть нелепые выражения сильного и яркого чувства жизни. А то, что ярко пережито, всегда интересно. Даже тождество инородцы-иностранцы-оккупанты.

Детские обиды мальчика-Солженицына, закапывавшего в землю георгиевские кресты отца, какие-то другие детские травмы, отразившиеся в «Круге», вызвали сдвиг в восприятии (сравнительно со стандартным интеллигент-

том 1918 года рождения) и заставили всю жизнь додумывать то, что в глазах сверстников заслонилось новыми впечатлениями, и полемически отсылать от переворотов, происходивших на глазах (в 1937, в 1949 году) — к другим, совершившимся ранее.

Географы могут не согласиться с Колумбом. Они могут сказать, что он совсем не то открыл, что думал. Но жителей Америки до сих пор называют индейцами. В языке Солженицына тоже есть сила первооткрывателя, выстрадавшего свою неправильную правду. Когда Каренин сбивается и говорит «пелестрадал», то он высказывает гораздо больше, чем если бы не сделал ошибки. Логические ошибки Александра Исаевича говорят о том же: о живой боли. Всякое страдание, которое человек сумел вынести, выдержать, делает глубже, делает приемником каких-то новых волн, которые иначе (не пострадай человек) так и остались бы не принятыми.

Что-то в этом роде я нахожу в биографиях великих царей (Ивана IV, Петра I: обоих в детстве смертельно испугали мятежники). Некоторые придают сходное значение казни Александра Ульянова в жизни его брата Владимира. Видимо, история нуждается в людях, которым шип, сидящий в мозгу, мешает спокойно жить. Можно представить себе, что некий дух загоняет этот шип в детский мозг, и потом несколько раз поворачивает его, чтобы выросло орудие для каких-то его целей; что именно раненное сознание становится аккумулятором незримых, но могучих энергий, дремлющих в России, да и повсюду; что без подготовленности детскими травмами Солженицын не воспринял бы с такой жгучей силой травму ареста и лагеря.

Читатель, может быть, шокирован, что я ставлю Солженицына не в тот ряд, в который следует. Но мне важна общность всех людей великой энергии, выросших со стремлением поломать то, что есть, и устроить заново. Один пишет законы, другой — романы; но бывает, что декреты похожи на роман, а романы — на декреты. Литературная оппозиция в России обычно единственно мыслимая форма оппозиции. Чернышевский, например, писал романы, — хотя какой он писатель! А протопоп Аввакум, если бы дело выгорело, записал бы свой след в истории не хуже

Грозного. Все шедевры словесности XVI—XVII вв. (самого подлинного и, можно сказать, подноготного русского периода) пахнут дыбой, костром или (как Повесть о горезлосчастии) знают один выбор: между кабаком (воля) и монастырем (затвор).

В этом ряду я вижу и Солженицына. «Архипелаг» — не просто изящная словесность. Это нечто вроде политической реставрации, проделанной в форме книги. Это контридеология, созданная, чтобы заразить массы и стать материальной силой. Александр Исаевич вполне мог бы написать на портрете генерала Самсонова (или Корнилова): «что он не доделал мечом, я доделаю пером» (надпись Бальзака на портрете Наполеона). И, как всякая реставрация, она заставляет меня вспомнить фразу Лосева: «истина революции обнаруживается в реставрации». Я вижу в характере Солженицына оправдание революционеров — злодеев его книги. Я не могу оправдать его и осудить их. Это один и тот же человеческий тип.

Тот же хмель, и та же трын-трава...

Распространенный русский тип широк, даже слишком (надо бы сузить, сказал Достоевский). И вот дух целого воплощается в характерах, как бы протестующих против расплывчатости, узких, как луч прожектора, как нож, режущий масло.* Эти узкие характеры правят широкой Россией. Режут ее, как ножом, своей сосредоточенной волей, формуют заново, не дают расплыться. Когда зациклены на западных идеях и строят хрустальный дворец, то кажутся не русскими вовсе (как Петр — староверам). Но они — это тоже она.

Солженицын, может быть, плохой историк; но вокруг него выются духи Истории (деятель, по мнению подпольного человека, и не должен понимать. Духи не любят, чтобы их понимали; любят, чтобы слушались.) Среди этих духов некоторые принадлежат мировой истории, некоторые — специфически русские. Один из них — дух Раскола. Имперский дух, ломающий национальное существование

*) В литературном ряду — то же самое там, где есть В В Розанов, должен быть и А И Солженицын. «Вечно бабье» (как выразился о Розанове Н. А Бердяев) требует противовеса.

России ради третьего Рима, Третьего Интернационала и т.п., сталкивается с духом обособления от всемирной истории, даже от вселенского православия, духом замыкания в себе... Русская этнография восстает против истории, не хочет империи, не хочет завоеваний, от которых хиреют центральные области. Быть пусто месту сему (Петербургу)! Пусть оно достанется шведам!

Александр Исаевич верен этому духу, когда хочет отказаться от всех неправославных республик. Он чувствует, что Россия, выйдя за свои пределы, перестает быть Россией, и пытается вернуть ее в берега. В идеях Александра Исаевича есть фантастическая несбыточность. Не может сверхдержава XX века забраться в берлогу и залечивать раны, как Русь XVII века; не может сойти с перекрестка между Китаем и Европой; она прикована к тачке мировой истории так же, как приковано (к другой тачке) еврейство. Но, видимо, за попыткой догнать и перегнать Запад *должен* быть зигзаг обособления в себе, берложности — и переваривания проглоченного. Что-то подобное было и в истории Японии. Я думаю, что без замкнутости и тесноты Московского царства не было бы единой России. Я люблю Россию версильских монологов и Пушкинской речи, а шатовскую — не люблю. Но история не обязательно должна считаться с моим вкусом. Кто знает? Может быть, почвеннический зигзаг необходим.

За энергией Солженицына, за его стремлением обособиться, уйти на Северо-Восток — стоит не только личная боль. Ради великих сил, прорвавшихся наружу в его страстях, стоит простить все передержки, натяжки, софизмы, без которых не может обойтись мысль, опрокинутая страстью.

Взгляды Солженицына, изложенные как система, вызывают у меня множество возражений. Но его гордый дух, ставший объектом художественной исповеди в «Архипелаге», поражает и захватывает. Как бы ни смотреть на дело с моральной и религиозной точки зрения, эстетически Солженицын на месте в своем шедевре. И не только потому, что без неизгладимой памяти на зло, без неспособности прощать — «Архипелаг» не был бы написан. Есть еще художественная необходимость: центральный характер Ада

не может быть ангельским. Голубой мальчик, которого незаслуженно травят другие мальчики (в «Круге»), фальшив. Мстительный дух, радующийся, что зад Крыленко не влезал под нары, — правдив и на свой лад прекрасен. Великолепный клубок воли, ярости, ненависти и порывов к добру*. В этом тексте Солженицын должен быть таким (у текста своя душа; и сотворенная, она покоряет творца).

Но «Архипелаг» написан. И наступает время, когда слабеют узы плоти. Нужен другой подвиг — отказа от страстей, освобождения от инерции «Архипелага». Тогда возникла бы другая исповедь, нужная, как хлеб. Я убежден, что Солженицын может ее написать. Но я не уверен, что он ее напишет.

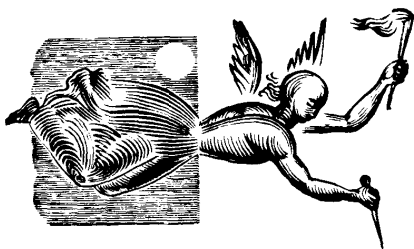
1975-1977

Р. С. Меня спрашивали: почему? — Потому, что основная стихия Солженицына — страсть, до ярости, до иступления. Тихий свет христианства ложится на него, отсвечивает от него в минуты внутренней тишины; но следующая волна страсти снова помрачает зеркало души. Читатели Солженицына, большею частью, тоже люди, далекие от внутреннего покоя. Только на волне страсти, пополам с ненавистью, они способны были принять семя христианской любви и приняли ее от Солженицына, а не от старца Силуана или вл. Антония. Это все время надо учитывать, говоря о значении Солженицына. Для миллиона людей христианство началось с «Матренина двора». Первый шаг к свету миллион людей (если не больше) прошел вместе с Солженицыным (а не с Твардовским или «Новым Миром»). Не Солженицыну говорить об этом, но нам сказать можно и нужно: один «Архипелаг» больше значит для нравственного развития страны, чем весь «Новый Мир».

*) Тут есть своего рода диалектика, о которой пишет старый черт в «Письмах» К. С. Льюиса «Для сильной и глубокой злости человеку нужна еще добродетель. Кем был бы Атилла без мужества или Шейлок без аскетичности?»

Лакшин, отвечая Солженицыну, большею частью прав в отношении к человеку; но он неправ по отношению к духу, избравшему уста Солженицына (не к таланту – талант Лакшин ценит, – а именно к духу). Перед этим Духом всем нам только бы раскрыться, только бы впустить его. Но Дух истины требует следующего шага, и следующий шаг придется сделать, вступив в борьбу с Солженицыным, с привычками яростной злопамятности, ввевшимися в него слишком глубоко, так глубоко, что вряд ли он сам сумеет с ними порвать. Следующий шаг требует простить невольных палачей, ставших жертвами своей ревности к истине, как они ее поняли (плохо поняли). Следующий шаг требует понять, что есть чистое Благо (свет из глубин Бытия), но нет чистого зла, что всякое зло коренится в ложно понятом благе, что ошибаться свойственно человеку и что мечтать надо не о трибунале, который воздаст уцелевшим палачам оком за око, а о своей способности простить хотя бы одного палача. Ибо конец палачества – не казнь палачей, а прощение.

3 марта 1978 г.



Александр Янов

ДЬЯВОЛ МЕНЯЕТ ОБЛИК

(СССР: ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ИЛИ СТАЛИНИЗАЦИЯ?)

Даже осторожный Киссинджер, говоря о грядущей в 1980-е гг. эре политической нестабильности, признает, что «судьба Советов в дальнейшей перспективе крайне неопределенна». И, между прочим, потому, что «большинство великих держав мира (США, Западная Европа, Китай и Япония) будут сгруппированы на одной стороне, а СССР — на другой. Это наверняка может быть понято в Москве как потенциал /стратегического/ окружения»*. Единственное, в чем я позволю себе не согласиться с Киссинджером — даты. Ибо процесс стратегического окружения СССР начался не сейчас, в конце 1970-х. Сейчас он только стал очевиден, а начался десятилетие назад в связи с крушением либерализации в России. Вернее, в тех далеких событиях были запрограммированы и неспособность к действительному сближению с Западом и, следовательно, то, что СССР оказался в положении нацистской Германии 1930-х, перед лицом борьбы на два фронта, с Западом и Китаем. И это сходство в объективном положении не может не порождать сходных тенденций во внутренней жизни России: и русификацию советского Вермахта (естественно, испытывающего сомнения в эффективности политического руководства,

Выступление в Беркли 21 апреля 1979 года перед преподавателями колледжей Калифорнии

*) The Economist Feb 3, 1979, p 20

которое уже завело страну в стратегические клещи), и активизацию русского национализма (перед лицом крайней неопределенности, говоря словами Киссинджера, судеб нации).

Можно только гадать, что произойдет, если два эти элемента — русский Вермахт и русский национализм — соединятся: не то же ли самое, что происходит, когда искра соединяется с порохом? Гадать, однако, мы будем чуть позже, а пока скажем, что крушение либерализации в конце 1960-х привело не только к образованию стратегических клещей, но и к неостановимому падению эффективности советской экономики. А это ставит под вопрос самый смысл правящей центристской коалиции (или Веймарского правительства России, как я назвал его в одной из своих книг), смысл, состоящий в мучительном и неуклюжем маневрировании между быстро растущими требованиями потребителей и еще быстрее растущими требованиями военно-промышленного комплекса. Маневрировать можно до тех пор, покуда есть пространство для маневра. Падение экономической эффективности катастрофически сужает это пространство. И с того момента, когда Веймарское правительство будет поставлено перед роковым вопросом, чьими интересами жертвовать, оно, с моей точки зрения, обречено.

Ко всему этому прибавляется еще и чудовищная духовная стагнация. Вот как она описана у Виктора Некрасова: «с воздухом что-то случилось, все меньше и меньше. Духота какая-то, спертость... Не будем сравнивать со сталинскими временами — дело прошлое, но и при Хрущеве была все-таки «оттепель», и 20 съезд, и Пушкинская площадь... Тут же, правда, были и Венгрия, и Куба, но рядом с ними Иван Денисович. А сейчас какая-то тягомотина, гниение на корню... гниль и тоска»*. Это зловещий признак. Даже из русской беллетристики мы знаем, что когда подобные настроения охватывают мыслящую часть общества, это предвещает бурю.

Зачем я все это говорю? Для того, чтобы, споря сейчас о судьбах России, мы отчетливо представляли себе,

*) «Континент», № 18, 1979, стр. 72-73.

на каком фоне мы спорим. А фон этот — песочные часы, поставленные перед Веймарским правительством, часы, из верхней чашечки которых песок неторопливо, но неумолимо перетекает в нижнюю. Фон этот — кризис, надвигающийся на Россию, когда упадет последняя песчинка, который может сделать с нею то, что нацистская революция сделала в 1930-х с Германией, или, что более вероятно, — и более современно, — то, что фундаменталистская революция Хомейни сделала с шахским Ираном.

Мне кажется, я понимаю, отчего ее триумф был для нас громом с ясного неба. Оттого, что мы судили о силе оппозиции шаху только по иранским диссидентам. Эти люди действительно не могли сбросить тирана, — здесь информация ЦРУ была абсолютно достоверна. Неправильной она оказалась совсем по другой причине — потому, что не приняла в расчет персидский фундаментализм, то, что я, по аналогии с Русской Новой Правой, назову здесь Персидской Новой Правой, которая оказалась способна объединить против режима и либералов и консерваторов, и революционеров и националистов, превратив оппозицию — пусть на краткий исторический миг — в монолитную и непобедимую силу. Я боюсь, что соединение русского национализма с вожделениями генералов — в эпоху общей экономической и духовной стагнации — может привести к аналогичному результату.

Я понимаю, это может звучать как прорицание Сивиллы. Я не люблю прорицаний и прорицателей. В отличие от некоторых российских изгнанников, я никогда не считал себя профессиональным пророком. Но профессиональным историком я себя считаю. Многие годы анализируя историю русских политических кризисов, я пришел к выводу, что они вовсе не были фатально обречены на столь мрачный финал. Начиная от первого великого политического кризиса, потрясшего Россию в 1550-е гг. и закончившегося диктатурой Ивана IV, и до последнего великого кризиса 1950-х, приведшего к хрущевской либерализации, до самого конца сохранялась возможность альтернативных решений. Режим мог ужесточиться (принимая мобилизационный и террористический характер), и мог, напротив, расслабиться (не утрачивая при этом своей принципиаль-

ной авторитарности). Говоря современным языком, режим мог сталинизироваться, но мог и либерализоваться. Правда, периоды либерализации всегда были недолговечны в России. Ее политическая система, автократия, стремилась к сталинизации, как магнитная стрелка к северу, как к своему естественному состоянию.

Именно анализ неудач российской либерализации и привел меня к моему главному заключению, о котором я говорю во всех своих книгах, статьях и лекциях. Заключение это состоит из трех частей. Во-первых, Россия может быть горда тем, что во всех пятнадцати поколениях, протекших после автократической революции Ивана Грозного, она порождала политическую оппозицию. Даже после буквального, физического ее уничтожения самыми зверскими режимами оппозиция эта всегда возрождалась, как феникс из пепла, тем самым доказывая, что традиция сопротивления тирании представляет столь же органическую черту русской политической системы, как и сама эта тирания.

Во-вторых, оказываясь способной *генерировать* оппозицию, русская политическая система оказывалась, тем не менее, неспособна *стабилизировать* процесс либерализации и довести его до черты, за которым он становится необратимым. Анализируя ошибки, сделанные в 1550-е так называемым «правительством компромисса», или ошибки «верховников» в 1720-е, или ошибки правительства Александра II в период великих реформ 1860-х, или ошибки Временного правительства в период Февральской революции 1917 г., или, наконец, ошибки хрущевского руководства в 1960-е, мы отчетливо видим их общий корень: русская оппозиция никогда не была способна выработать последовательную и непротиворечивую *стратегию либерализации*. Именно это, с моей точки зрения, обусловило непрерывную цепь ее поражений, что вело в свою очередь к сталинизации системы. Ибо таков характер автократии: *если она не либерализуется, она сталинизируется*.

Разные люди, естественно, делают из этого разные выводы. Одни считают, что либерализация России как результат политического действия немислима и может прийти лишь в неопределенном будущем, — в итоге трудного духовного процесса самоусовершенствования каждой

отдельной личности. При этом, однако, не объясняется, каким образом возможно такое самоусовершенствование в условиях той «гнили и тоски», которая растлеивает, а не совершенствует души в сегодняшней России. Или, тем более, в условиях нового террора, который, возможно, на нее надвигается. Другие считают, что либерализация России не только немыслима, но и вредна, так как эта страна представляет собою особую и по своей сущности авторитарную цивилизацию, имманентно чуждую западному либерализму. Такова, например, точка зрения русских националистов. При этом, однако, не объясняется, каким образом возможно будет удержать эту авторитарную цивилизацию от новых взрывов сталинистского варварства, которые уже потрясли Россию, по моим подсчетам, 7 раз за 400 лет, и в ГУЛАГах которой систематически гибнет цвет ее интеллекта и духа. Третьи, наконец, считают, что либерализация России невозможна по причинам, так сказать, историко-генетическим, из-за ее татарско-византийского политического наследства. Такой точки зрения придерживались, например, знаменитые историки Арнольд Тойнби и Карл Витфогель.

Моя собственная позиция отличается от всех, перечисленных выше. Суммируя ее кратко, мы и переходим к третьей части нашего заключения.

а) Сталинизация России на исходе XX века может послужить источником кризиса всего существующего миропорядка;

б) в таких условиях проблема предотвращения этой сталинизации оказывается проблемой не только русской оппозиции, но и всего мирового сообщества;

в) проблема эта не сводится ни к непосредственной смене автократии демократией (что, как свидетельствует история, нереалистично), ни к простой замене одного авторитарного режима другим (что, как свидетельствует та же история, ведет лишь к регенерации сталинизма). Речь, стало быть, идет о последовательной и целенаправленной либерализации существующей политической системы, о постепенном движении ее *в направлении* к демократии. В терминах таблицы, графически объясняющей мой взгляд на структуру советского эстаблишмента (см. Приложение),

это означает, что приход к власти групп, которую я называю «Коалицией Надежды», мог бы послужить стартовой точкой такого движения;

г) исполнение этой задачи требует столь тонкой и богатой нюансами стратегии, для выработки которой русская оппозиция никогда не располагала и не располагает сейчас ни необходимым политическим опытом, ни достаточными интеллектуальными ресурсами;

д) тем не менее, политический опыт и интеллектуальные ресурсы, необходимые для выработки стратегии либерализации, существуют. Ими располагает интеллектуальное сообщество Запада;

е) таким образом, если политическим ядром сталинизации является в настоящих условиях, как мы говорили, соединение недовольства генералов с идеологией русского национализма, то политическим ядром либерализации (или — что то же самое — предотвращения сталинизма) является соединение оппозиционного потенциала России с интеллектуальным и политическим опытом Запада.

Я никогда не скрывал этого своего заключения. Я приводил в его защиту все аргументы, которые способен был придумать. Я спрашивал, например: если в России все равно есть оппозиционный потенциал, то почему не протянуть руку возможному союзнику в борьбе против хаоса, угрожающего миропорядку? Что я пытался доказать в своей книге «Детант после Брежнева»? Нельзя упускать из виду, что средний менеджериальный класс — самая мощная массовая опора русской латентной оппозиции, порожденная индустриальной революцией, — и даже аристократизирующаяся элита современной России — сами смертельно напуганы ее постепенным скольжением к пропасти, что высокомерная маска, которую носят они перед миром, — только маска. Проблема заключается в том, как отделить овец от козлий внутри самого советского эстаблишмента. Как не только распознать в нем своих потенциальных союзников, но и найти с ними общий язык. Как заставить их выйти на политическую поверхность и драться против своих — и наших — оппонентов, драться за собст-

венные интересы, за предотвращение нового ГУЛАГа, первыми жертвами которого падут они сами.

Я вполне отдаю себе отчет, что такая позиция не только может, но и должна вызвать раздражение. И у тех скептических западников, которые отчаялись обнаружить человеческое лицо за кувшинными рылами брежневских «вождей». И у тех националистов, которым при слове «либерализация» хочется схватиться за пистолет. И уж конечно у тех, кому Россия представляется беспросветной советской мглой, в которой все кошки серы. У меня нет сейчас возможности подробно возражать всем им. Но позвольте мне лишь на трех примерах, взятых из разных областей жизни, показать, что я имею в виду отнюдь не очередную утопию, а напротив, самые будничные проблемы, которые мы все равно, хотим мы того или нет, должны сегодня решать.

Давать или не давать СССР новые кредиты, — об этом спорят сейчас в связи с поправкой к поправке Джексона. И я предлагаю здесь всего лишь изменить угол зрения, посмотреть на проблему с позиций «Коалиции Надежды». И как только мы это сделаем, мы точно увидим, что не можем согласиться ни с теми, кто говорит «давать», ни с теми, кто говорит «не давать». Ибо «давать» означает лишь затягивать дни агонизирующего брежневского режима, а «не давать» — означает укрепление изоляционистской позиции Русской Новой Правой и, быть может, приближение новой сталинизации России. Для меня проблема в другом: *как кредитовать, зачем кредитовать, кого кредитовать?* С позиций «Коалиции Надежды» давать кредиты следует не брежневским чиновникам из Министерства внешней торговли, а непосредственно — конкурентам и оппонентам Русской Новой Правой, крупным производственным объединениям, центрам мощи среднего менеджериального класса. Ибо тем самым мы придавали бы им новый вес и новый статус, самой логикой вещей выводили бы их на политическую орбиту, где они только и могут эффективно отстаивать свои интересы против военно-промышленного комплекса. Иначе говоря, мы укрепляли бы в советском эстаблишменте те группы интересов, успеха которым мы желаем.

Следующий пример. Один мой друг, принимавший

участие в организации большой юбилейной конференции учреждения, которое занимается научными обменами, поделился со мною своими заботами.

— Мы склоняемся к тому, — сказал он, — чтобы вообще не приглашать на конференцию советскую делегацию. Мы хотим видеть на ней коллег, ученых, а они каждый раз присылают нам взамен каких-то темных и загадочных типов, под взглядами которых цепенеют наши коллеги из Восточной Европы. И вместо конференции получается скучный и мучительный бюрократический спектакль. Зачем нам это?

— Но если СССР самый крупный ваш партнер в научных обменах, — спросил я, — прилично ли вообще не приглашать его на юбилей?

— Вот я и говорю, — ответил мой друг. — Одно плохо, а другое еще хуже. Что же делать?

Я наивно спросил: — Почему вы не приглашаете не анонимную советскую делегацию, а поименно тех-то и тех-то ученых?

— Мы-то приглашаем. Но всегда оказывается, что у тех, кого мы хотим видеть, возникает вдруг насморк или что-то случается с тещей, — короче говоря, приехать они не могут. Вместо них и приезжают специалисты, которым место на конференции по технике современного шпионажа, а не у нас.

— Но ведь ученые — не взаимозаменяемые детали, — настаивал я. — Почему вы не можете твердо сказать, что приглашаете *только* тех, кого хотите видеть? *Замена не принимается*. А если у них проблемы с тещами, пусть от этого страдают советские бюрократы, заинтересованные в обменах. Зачем вам зависеть от них? Пусть они зависят от вас! Поскольку вы прекрасно знаете, кто есть кто в советской науке, вы получаете таким образом возможность реально влиять на процесс селекции ученых в советском эстаблишменте. Если, конечно, вы займете эту позицию не только на случай юбилейной конференции, а в принципе, навсегда. Контакты и обмены *только* с настоящими коллегами, — такая позиция давала бы вам в руки мощное политическое оружие. Поездки за границу — одна из самых важных привилегий в СССР. И манипуляция этой привилегией

— одно из самых сильных средств, при помощи которых научная бюрократия и КГБ держат в своей власти советских ученых. Отберите у них это средство — и так же, как в случае с кредитами, вы сможете укрепить те группы интересов в советском эстаблишменте, успеха которым вы желаете, и политизировать борьбу внутри него.

Третий пример — советская пресса, выросшая в обстоятельствах, которые можно было бы назвать «ситуацией монолога». Она ведет себя, как актер, выступающий перед пустым залом и слышащий только эхо собственного голоса. Она представления не имеет о том, что такое диалог, что такое настоящий оппонент. Но это вовсе не означает, что в советской прессе — точно так же, как среди советских менеджеров, ученых или литераторов — нет замечательно талантливых и честных людей, которым невыносимо стыдно за ее ложь, за ее унижение, за ее сотрудничество с КГБ. Но не эти люди представляют перед миром советскую прессу, по сути монополизированную кучкой безнравственных, бездарных и некомпетентных лгунов, как Юрий Жуков, прославившийся даже среди своих коллег патологической неспособностью писать правду. Однако ситуация монолога, требующая от участников только умения браниться и лгать, не требует талантливых людей. Для нее вполне достаточно Жуковых. Талантливые люди нужны для дискуссии, для полемики, для диалога. Советские читатели бессильны вызвать его. Западная журналистская сверхдержава, располагающая первоклассными полемическими талантами, не идет на диалог из брезгливого высокомерия. Она не хватает за руку лгунов и наемников КГБ, не делает их посмешищем перед лицом всего читающего мира, обличая их неэффективность даже в глазах их собственных боссов. И таким образом она невольно помогает тому, что «ситуация монолога», порождающая деградацию и коррупцию, продолжается, обеспечивая Жуковым диктатуру в советской прессе. Мы можем констатировать, стало быть, что и в этой области у нас есть мощное оружие, способное дезавуировать сталинистов и вывести на политическую поверхность людей, успеха которым мы желаем. Проблема лишь в том, что мы этим оружием не пользуемся. Так же, впрочем, как не пользуемся мы своим оружием

в области кредитов или научных обменов. Можно привести еще множество подобных примеров. Каждый из них в отдельности может выглядеть мелким и не решающим problemу. Но вместе взятые, они и могли бы стать элементами той стратегии либерализации, которую, уж конечно, разрабатывать не мне, а какому-нибудь мозговому тресту, собравшему в себе сливки русского и западного интеллекта. И кто знает? — может быть, конечной целью его работы стала бы замена Веймарского правительства России, неспособного остановить скольжение страны к пропасти, «Коалицией Надежды»? И тогда вместо вероломного оппонента, которому нельзя доверять ни на грош, мы получили бы в лице СССР, по крайней мере, партнера, с которым можно и соперничать и сотрудничать. Не оказалось ли бы это вдобавок еще и самым дешевым способом обеспечить собственную безопасность? Если американцы согласны тратить *ежегодно* 130 миллиардов на вооружения, то не экономней ли было бы потратить *однажды* 130 миллионов хотя бы для того, чтобы проверить, нужно ли действительно тратить 130 миллиардов?

Увы, у меня создалось впечатление, что меня слушают, но не слышат. Более 30 рецензий было опубликовано на мои книги — в США, в Англии, в Германии, во Франции, в Италии. Все иностранные рецензенты хвалили меня, все русские хулили. Но хвалили и хулили совсем не за то, в чем для меня суть дела. Ее никто словно бы и не заметил.

А время, между тем, не стоит на месте. И песок из верхней чашечки часов, стоящих перед Веймарским правительством, все сыплется. И Россия движется — быть может, к своей Голгофе. Русская Новая Правая созревает для прыжка к власти. Вот вам совсем свежий пример — сенсационный, экстраординарный и зловещий. В недавнем интервью Би-Би-Си Солженицын сделал первый шаг к роковому соединению русского национализма с вождением русских генералов. Он воззвал к ним как к будущим освободителям страны — и тем самым наметил путь к формированию «Коалиции Страха». Это еще шаг, так сказать, прицеливающийся, разведывательный, осторожный. Но тревожно и страшно то, что величайший борец против сталинизма, который получил Нобелевскую премию и был признан

миром именно как борец против сталинизма, теперь открыто декларирует, что либерализация России была бы для нее катастрофой.* И тем самым становится на сторону сталинистов. Его выступление, словно взрыв, сметает все частные примеры возможных путей либерализации, о которых мы только что говорили, и властно возвращает нас к началу начал: к тому, что первой предпосылкой либерализации России является предотвращение ее сталинизации.

Солженицын атаковал меня в своем интервью. Он попытался зачеркнуть всю мою работу, применив для этого точно те же приемы, какие в свое время применяла против него советская пресса: я ему — анализ идей, а он мне — личные инсинуации, я ему — призыв жить не по лжи, а он мне — такую примитивную фальсификацию моих книг, что читатель поневоле усомнится, видел ли он их когда-нибудь в глаза. Прибавьте к этому, что публика в России никак не может отличить правду от лжи в том, что вещалось ей из Вермонта. И, право, уж вовсе естественно в этом контексте было обвинить меня в безродном космополитизме, то бишь в том, что книги мои проникнуты «самым враждебным отношением ко всему русскому». Впрочем, Солженицын не побрезговал еще добавить, что смысл их состоит в призыве: «держитесь... за Брежнева всеми силами...» и «поддерживайте коммунистический режим»**. Так сказать, если враг не сдастся, его уничтожают...

Но даже и не это меня, по правде говоря, больше всего смутило, — хотя то обстоятельство, что человек, провозглашенный совестью России, ни в грош не ставит русскую совесть, уж очень огорчительно. По-настоящему смутило меня то, что Солженицын инсинуациями попытался *заменить* идейный диалог и увернулся от интеллектуальной дуэли, ради которой я и бросил ему перчатку в своей «Русской Новой Правой». Случайно ли это? Впрочем, к вопросу о его способности к интеллектуальным дуэлям мы еще вернемся.

Не скрою, мой вызов был жесток. Недаром один из рецензентов предсказал, что «для многих нелестный, но режущий анализ идей Солженицына окажется шоком»***.

*) «Вестник РХД», 1979, № 127, стр. 283. **) Там же, стр. 289.
***) S. Cohen The Left Right The N.Y.T. Book Review Jan 1, 1979, p 28.

Но в нем не было ничего личного: о Солженицыне 1960-х годов, о «моем Солженицыне» я говорил с восхищением и преклонением. Острота анализа объяснялась остротой положения сегодняшней России. И потом — приводил я не только актуально-политические аргументы. Поскольку Солженицын обвиняет своих оппонентов и, в частности, современное демократическое движение в плохом знании русской истории*, я и предложил в качестве критерия для суждения о политических потенциях русского национализма именно историю, именно модель его эволюции в прошлом веке.

На первой ступени ее, которую я назвал А-национализмом, в 1830-1850-е, он представлял собой (точно так же, как и идеология Солженицына 1960-х) либерально-религиозную оппозицию тираническому режиму. И если я был прав, когда писал еще в начале 1971 г. в «Новом мире», что «проблема отрицательного героя есть своего рода теодицея любой идеологической конструкции, оправдание ее бога, ее идеала»**, то, несомненно, отрицательным героем А-национализма, его дьяволом была русская автократия: в XIX веке тирания Николая I, в XX — тирания Сталина.

Однако на следующем этапе эволюции, на стадии Б-национализма, в 1860-1880-е, облик дьявола вдруг резко меняется. Вместо русской автократии им становится буржуазный Запад. Да и сама автократия оказывается каким-то образом порождением этого нового дьявола. И бессознательно, но покорно копируя эволюцию национализма в прошлом веке, идеология Солженицына в 1970-е сменила своего дьявола, опять обнаружив корень всех русских бед в растленном Западе.

Нужны ли еще доказательства, что модель работает — прямо на наших глазах?

Но и это еще не было концом печальной эволюции Русской Правой. В 1890-1910-е, на стадии В-национализма, дьявол ее снова меняет облик. Теперь им становится всемирный сионистский заговор, диктатура еврейского капи-

*) «Вестник РХД», 1979, № 127, стр. 282-283, 288.

**) А. Янов. Рабочая тема «Новый мир», 1971, № 3, стр. 247

тала. Она вдруг оказывается источником растления самого Запада, причиной всех войн и всех несчастий современного мира. И единственной силой, способной противостоять этому дьяволу, представляла Россия. Вот почему генеральным политическим лозунгом на стадии В-национализма в начале XX века стало: бей жидов, спасай Россию! Вот почему требовала она на этом этапе военной диктатуры, единственно способной, по ее мнению, к эффективному и всемирному избиению жидов.

Этим я вовсе не хотел сказать, что Солженицын непременно сам сделает этот последний, роковой шаг в превращении благородной православной утопии в идеологическое обоснование деятельности новой Черной Сотни, жаждущей военной диктатуры как панацеи. Не сделал же этого шага Иван Аксаков, непосредственный прототип Солженицына в 1880-е. Более того, Аксаков отшатнулся от своих ретивых последователей, которые этот шаг сделали. Отшатнулся — но было поздно: жидов били его именем.

Где же гарантия, что сможет остановить своих последователей Солженицын? Он ведь уже не смог остановить черносотенца Шиманова, например, которому и сам Солженицын представляется отсталым и опасным либералом.* Так где уж ему остановить В. Емельянова, который черным по белому пишет в докладной Президиуму Верховного Совета СССР, что «остающиеся в СССР евреи... образуют пятую колонну, подобно немцам Поволжья и крымским татарам во время Отечественной войны»?** Или Л. Корнева, обнаружившего в «Огоньке» следующее наблюдение: «международный заговор еврейских финансовых магнатов» ведет «к террору сионистского интернационала и его тайных агентур, деятельность которых направлена на создание очагов напряженности в глобальном масштабе»?*** Или Ю. Иванова, который, восхищенно цитируя в «Комсомольской правде» расистские упражнения Генри Форда, задает храбрый вопрос: «Можно ли предположить, что в

*) A. Yanov The Russian New Right Institute of International Studies Berkley, 1978, pp. 113-130

**) «Новое русское слово», 1978, 8 октября

***) Там же

сегодняшней Америке было бы опубликовано то, что сказал Генри Форд на страницах «Нью-Йорк Таймс»: если 50 еврейских финансистов, которые богаче меня и которые творят войну в интересах своих прибылей, были бы подчинены общественному контролю, войн бы не было?» *

Я привел десятки аналогичных документов и фактов в своей книге — и о том, что говорят сегодняшние русские националисты из Диссидентской Правой на страницах Самиздата, и о том, что говорят их коллеги из Эстаблишментарной Правой на страницах официальной подцензурной печати. О, разумеется, все эти люди произносят пышные слова о торжестве «русской идеи» и о национальном возрождении России, — точно так же, впрочем, как гитлеровцы говорили о торжестве «арийской идеи» и о национальном возрождении Германии. Есть, однако, и отличие. Адепты «арийской идеи» антисемитами быть не стеснялись. Наши националисты все еще стесняются. Конечно, чтобы отвести эту роковую аналогию, возразят они мне, что обвинение в антисемитизме — атомная бомба в арсенале их оппонентов. Но если так, то почему бы не лишить своих оппонентов их главного оружия, публично отрекшись, например, от Шиманова и Антонова? Солженицын не сделал этого. Почему?

Он не отмежевался от молодогвардейцев-сталинистов В. Чалмаева и М. Лобанова. Почему?

Он не заявил городу и миру, что он — не с ними, расистами, антисемитами, неонацистами, что он — против них. Почему?

Укажите мне хоть один случай, когда он выступил против кого бы то ни было из них публично, — он, который нашел же время и трибуну выступить против меня. Не было такого случая. Почему?

Потому что я опаснее в его глазах, нежели все эти черносотенцы? Поэтому. Но не только поэтому. А еще и потому, что я — *чужой*, либерал, западник, еврей, а они — *свои*. Может быть, ошибающиеся, может быть, грешные, но свои, русские патриоты, националисты, плоть от плоти и кость от кости, — не чета «безродному космополиту» производства

*) «Комсомольская правда», 1975, 19 ноября.

1970-х. Солженицын никогда не спросил, кто стоял за опубликованием в Москве политических романов Ивана Шевцова, откровенно построенных на концепции всемирного еврейского заговора. Удивительно ли все это? Если мои сведения верны, за ними стояли те самые люди, которым он сегодня протянул руку через океан как будущим освободителям России: русские генералы Чуйков и Куликов.

Когда я писал свою книгу, я думал, что достаточно обратить внимание Солженицына на то, в какой грязной компании он оказался, на логику его собственной мысли, которая уже привела его от борьбы с дьяволом сталинизма к борьбе с дьяволом либерализации, на простую политическую арифметику: сталинисты используют его авторитет, нажитый смертным опытом ГУЛАГа, для реставрации этого ГУЛАГа. Они используют его, а не он их! Теперь — после интервью Би-Би-Си — очевидно, как я ужасно ошибался. Но пусть бросит в меня камень тот, кто не восхищался Солженицыным.

Он был мне дорог за свои книги и письма 1960-х, времени, когда он, казалось, вырос в интеллектуального и нравственного лидера русской оппозиции. Он был мне дорог как человек, взваливший на свои плечи титаническую миссию денацификации России, как человек, силой своего необыкновенного таланта заставивший Запад выслушать правду о сталинизме. Конечно, я не мог не замечать в 1970-е его растушую — и постепенно переходящую в ненависть — неприязнь к демократии на Западе и демократическому движению в России, его вражду к правовому началу, его проповедь авторитаризма, его нетерпимость, его странные притязания на монопольную интерпретацию русской и мировой истории. Но все мне по старой памяти казалось, что это — эксцентричность великого исторического персонажа, что каким-то необъяснимым образом целое больше составляющих его частей, что, даже ошибаясь в частностях, он все-таки прав в чем-то главном.

И даже его личная враждебность не смогла бы сбить меня с этой комфортабельной позиции. К этому я привык, судьба у меня такая: для советских вождей я всю жизнь был недостаточно советским человеком, для антисо-

ветских вождей я оказываюсь недостаточно антисоветским человеком. Но какое значение имеет моя судьба? В конце концов «Иван Денисович» был, и «Раковый корпус» был, и «Архипелаг ГУЛАГ» тоже был. Кошунственно это зачеркивать. Испугало меня совсем другое: сам Солженицын принялся это зачеркивать. В своем последнем интервью он клеймит тех, кто пытается все российские беды свалить на «мифический (!) сталинизм»*.

А ведь это все равно, что сказать «мифический "Иван Денисович"», «мифический "Раковый корпус"», «мифический "Архипелаг ГУЛАГ"». Но отсюда уже, согласитесь, один только логический шаг до того, чтобы сказать невероятное: «мифический Солженицын».

Как могло случиться такое? Что теперь нам остается думать? Либо есть два Солженицына, либо... либо что? Либо мы сами навязали этому человеку роль, исполнять которую он не способен. И когда он влез на котурны интеллектуального лидера, он оказался банкротом.

Так не сотворили ли мы себе кумира?

А если сотворили, как же еще ему себя вести? Не естественно ли для него, подобно Волшебнику Изумрудного города, сублимировать свою интеллектуальную ординарность в таинственную позу громовержца? Не естественно ли сублимировать недостаток знаний в пророческое всеведение? Естественно. Именно это Солженицын и делает.

Вспомним, в 1960-е, когда он превосходно знал, о чем говорит, язык его был точен и свободен, в нем не было туманных пророческих обертонов, не было декламации и театральных поз, — одна жестокая и горькая правда. Тогда ему не нужны были отважные, но, увы, любительские экскурсии в область Средних веков и Ренессанса. Тогда он не позволил бы себе публично признаваться в собственной дезинформированности, описывая, например, «повышенную изворотливость между советским режимом и интеллектуальным Западом... впрочем, оба эти мира атеистические и не так чужды друг другу»** или «большое сочувст-

*) «Вестник РХД», 1979, № 127, стр. 290.

**) Там же, стр. 285

вие американских интеллектуалов к социализму и коммунизму, они почти сплошь этим дышат»*

Всего этого ни за что не позволил бы себе Солженицын — замечательный писатель 1960-х. И все это естественно позволяет себе Солженицын, вынужденный имитировать пророка.

Так может ли быть, что, ошибаясь в каждом отдельном случае, человек этот все-таки прав в целом? Может ли быть, что за шаманскими заклинаниями духов и мелодраматической декламацией все-таки скрыт некий высший, недоступный простому смертному смысл? Да полно, мы сами сотворили себе кумира, и пора иметь мужество признаться самим себе, что целое — не больше составляющих его частей, что это — aberrация, обман зрения. Нет пророка Солженицына. Есть писатель и человек, способный на героическое поведение, человек, волей исторического случая вознесенный до роли интеллектуального лидера, до роли второго, альтернативного правительства России, которую с таким блеском исполнял в прошлом веке интеллектуал Герцен и с таким блеском сейчас исполняет интеллектуал Сахаров. До роли, для исполнения которой ни писательского таланта, ни героического поведения недостаточно. Перед нами картина гомерических интеллектуальных претензий и прискорбного интеллектуального бессилия. И это не так уж трудно доказать.

Пусть другие защищают честь западной интеллигенции. Я коснусь лишь главного тезиса Русской Новой Правой, так сформулированной Солженицыным: бойкотировать марксизм, «отнять свои руки от их Идеологии... Это тоже будет равносильно изменению государственного строя»**. На первый взгляд может показаться, что пусть не высший, но какой-то смысл в этом все-таки есть. Присмотримся, однако, внимательнее. Из этого главного тезиса вытекает множество логических заключений. Возьмем лишь два — и увидим, что они не выдерживают прикосновения анализа. Одно из них можно было бы сформулировать так: «замена режима, вдохновленного иде-

*) «Вестник РХД», 1979, № 127, стр. 285

***) Там же, стр. 293

ологией марксизма, режимом, вдохновленным идеологией православия, есть абсолютное благо». Но разве Андрей Курбский, такой же изгнанник из России, как Солженицын, тоже страстно призывавший из-за границы к изменению режима, не протестовал в XVI веке против тирании православного царя Ивана, от которого марксизмом и не пахло? Разве другой изгнанник, Григорий Котошихин, призывал в XVII веке к бойкоту марксистской идеологии, а не вполне православного режима «тишайшего» царя Алексея Михайловича? Разве, наконец, Александр Герцен, величайший из русских изгнанников, бежал от марксизма, а не от невыносимой «гнили и тоски», в которую погрузила Россию тирания Николая I, православного жандарма Европы? Ведь то, что проповедует сейчас как самоновейшую истину Солженицын, уже было в России и длилось столетиями, и привело к сталинской катастрофе. Так есть ли смысл возвращаться к этому? Зачем? Чтоб повторить все сначала? Так обстоит дело с первым заключением, вытекающим из тезиса Солженицына.

Перейдем ко второму, которое может звучать так: «если не бойкотировать марксизм, изменить режим невозможно». В этом Солженицын, впрочем, не одинок. В недавней статье американского ученого Томаса М. Магштадта тоже, например, утверждается: «Взгляд, что а) советская система может изменяться и б) США могут что-либо сделать, чтобы повлиять на курс этого изменения»*, — откровенная чепуха. Я не буду в ответ ссылаться на русскую историю. Сошлюсь лишь на то, чему мы сами были свидетелями. Г-ну Магштадту, естественно, нелегко из Южной Дакоты понять разницу между Россией, скажем, сталинской, хрущевской и брежневской. Но зато эта разница ни в чем не очевидна так, как в судьбе самого Солженицына. В России сталинской он гнил в ГУЛАГе — и единственной его перспективной была безвестная смерть. В России хрущевской его не только реабилитировали, но и публиковали, и вознесли на пьедестал, и сделали членом Союза советских писателей, — и тем самым открыли ему перспективу влиять на судьбы своей страны. Из России брежневской его

*) «National Review» February 16, 1979, p 236

выслали на презируемый им Запад, открыв перед ним тем самым перспективу воздействовать на судьбы своей страны извне, перспективу, которой он широко сейчас пользуется.

И все эти буквально судьбоносные изменения произошли в России при господстве той самой марксистской идеологии, которая, согласно Солженицыну, исключает какие бы то ни было изменения. Идеология вообще служит тем, кто платит ее жрецам. Тот же самый каучуковый марксизм исправно служил Сталину и Мао, Хрущеву и Ден Сяо-пину. Означает ли это, что китайцам безразлично, кто в их стране у власти — Ден или Мао? Что мы не должны отличать Хрущева от Сталина? Ведь я говорю об изменениях в судьбе человека, символизирующего целое поколение. Именно перед глазами этого поколения прошли, вопреки утверждению г. Магштадта, *три разных режима*. Если бы этого не случилось, Солженицын, может быть, и до сих пор возил бы в ГУЛАГе каторжную тачку, никому на свете не известный, и уж наверняка не обменял бы койку в бараке на замок в Вермонте, откуда он сейчас время от времени уведомляет мир об ожидающем его Страшном Суде.

Что же из этого следует? Не то ли, что Солженицын обязан жизнью, и славой, и всем, что он сегодня имеет, как раз той самой либерализации, от которой он теперь ждет катастрофы? И разве он один обязан ей всем? Разве все мы — не ее сыновья?

И как только мы упомянули об этом, мы тотчас возвращаемся к моему главному тезису о том, что русская оппозиция способна генерировать процесс либерализации, но не научилась еще его стабилизировать. Иначе говоря, несчастье неслась с собою не либерализация, а то, что мы не сумели ее использовать, не сумели довести ее до той точки, от которой уже не было бы возврата ни к Сталину, ни к Брежневу. И тут перед нами возникает старый вопрос: а что, если из постбрежневской драки за власть, которая уже при дверях, возникнет новый Хрущев, что делать нам в этом случае? Бойкотировать его, как рекомендует Солженицын (и тем накликав на свою голову Сталина), или, напротив, объединиться с западным интеллектом, чтобы постараться довести процесс либерализации до конца?

Проблема идеологии, вопреки Солженицыну, играет в этом третьестепенную роль. Зато проблема стратегии либерализации — судьбоносную. Покуда ее нет — мы безоружны. Мы снова обречены на поражение, и новый Хрущев не поможет нам так же, как не помог старый.

Итак, условно говоря, я — за нового Хрущева. За что Солженицын? В интервью Би-Би-Си он говорит: «книгами — я непременно и скоро вернусь /на родину/. Да, надеюсь, и сам»*. Имеет он в виду, что вернется в Россию, где восторжествуют другие «вожди, которые *внезапно* бы пришли вместо них /нынешних. — А. Я./»**. Какие же именно вожди? «... я рассчитываю на ту степень просвещения, которая... не могла не распространиться в сферах военных и административных... Ведь народ — это не только миллионные массы внизу, но и отдельные представители его, занявшие ключевые посты. Есть же сыны России и там. И Россия ждет от них, что они выполнят свой сыновний долг... Я хорошо помню наше о ф и ц е р с т в о 2-й мировой войны, сколько пылких честных сердец кончало ту войну, и с порывом устроить, наконец, жизнь на родине. Я не могу поверить... чтоб они или их наследники были равнодушны к ужасной судьбе, которую готовят нашей родине...»***. Не ясно ли после этого, за что Солженицын? Он — за черных полковников. Как видите, моя модель все еще работает. Во всяком случае, Солженицын в точности следует образцам В-национализма прошлого века. Образцы требуют военной диктатуры. И он воззвал к генералам. И в этом его призыве я как раз и вижу «ужасную судьбу, которая готовится для нашей страны».

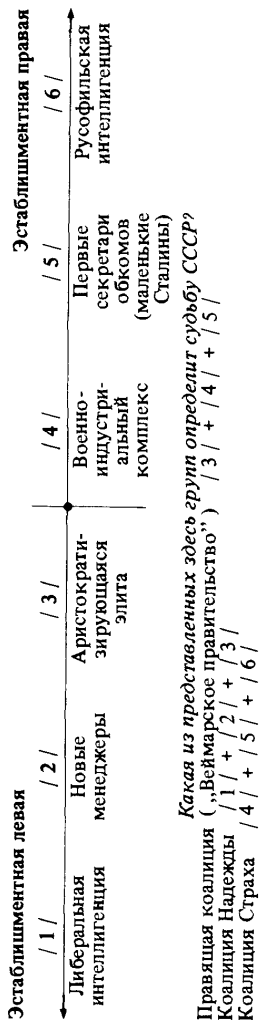
Могут сказать, что я сам себе противоречу: если король голый, то чего стоят его призывы? В ответ я процитирую комментарий журнала «Нью-Йоркер»: «Философия Солженицына удивительно похожа на философию иранского революционного лидера аятоллы Рухоллы Хомейни. Оба радикально отрицают феномен современного мира. Оба — религиозные фундаменталисты и теократы. Оба обладают мужеством и силой, но также жестокостью и

*) «Вестник РХД», 1979, № 127, стр. 282

**) Там же, стр. 294.

***) Там же, стр. 295 (курсив мой — А. Я.)

ПРИЛОЖЕНИЕ – Схематический взгляд на советский эстаблишмент



нетерпимостью... Оба претендуют на моральное суждение не только о своих странах, но и обо всем мире. Оба черпают свое вдохновение из далекого прошлого... Оба всю жизнь были в оппозиции к репрессивному режиму, но оба терпеть не могут демократическую процедуру... Оба – пылкие патриоты. Оба расстраивали планы руководящих кругов великих держав)*. Первый рассчитывал на массовую революцию, второй на военный переворот, первый провёл в изгнании 14 лет, второй – пять...

Представьте себе, однако, что в 1969 г., когда Хомейни пробыл в своем темном иракском изгнании лишь пять лет, та же Би-Би-Си провела с ним интервью, в котором он предсказал бы конец всемогущего шаха и свое триумфальное возвращение на родину. Что сказали бы о таком прорицании мои теперешние оппоненты? Не то же ли самое, что скажут они о прорицании Солженицына: какой здравомыслящий человек станет слушать профана, претендующего на роль пророка? Хомейни теперь признанный лидер Персидской Новой Правой, и исламская теократия начинает воплощаться в жизнь. Я не знаю, что принесет миру этот ренессанс персидского средневековья. Мне кажется только, что ренессанс русского средне-

*) The New Yorker, February 12, 1979

ковья, вооруженного межконтинентальными ракетами, был бы хуже. Вот почему опасно недооценивать Солженицына.

Да, он не интеллектуал и не пророк. Но он — аятолла России. Его устами говорит рушащийся мир традиционных ценностей. Его фанатические придворные муллы уже сейчас готовы растерзать всякого за неусторженный образ мыслей о его святейшестве. Есть, однако, кое-кто пострашнее придворных мулл. 23 февраля этого года тысячи генералов и офицеров прервали доклад своего министра, маршала Устинова, четвертьчасовой овацией, когда он упомянул имя Сталина. Они не устраивали оваций, когда упоминалось имя Брежнева. Или Ленина. Они аплодировали только Сталину. Это их зовет в спасители России его святейшество?

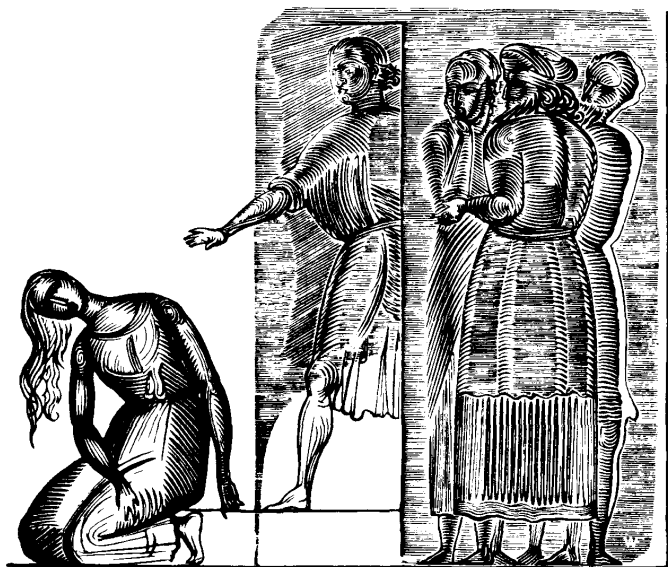
Мы не можем позволить себе быть загипнотизированными той формой сталинизма, которая восторжествовала в России в 1930-е годы, ибо самое коварное свойство дьявола русской тирании — его способность менять облик. Диктатура Петра не походила на диктатуру Ивана Грозного, точно так же, как диктатура Сталина не походила на диктатуру Петра. Дьявол способен явиться как вестернизатор и как истернизатор. Именно сейчас мы присутствуем при событии не меньшей, быть может, важности, чем рождение гитлеризма — при выходе на арену мировой политики реакционного фундаментализма, облеченного в рясу религиозно-национальной оппозиции. И вожделения Солженицына могут воплотиться в жизнь точно так же, как воплотились вожделения Хомейни. Особенно если мы вспомним, что излучаемая режимом Брежнева гниль и тоска уже подвели Россию к той грани, за которой люди жаждут любого взрыва — если даже не надеются его пережить.

Вот вам одна из недавних московских историй. Это случилось в Центральном доме работников искусств. На концерте утонченная работница искусств обнаружила среди публики своего супруга с другой работницей искусств, столь же утонченной, но помоложе. Первая вцепилась сопернице в волосы, обе упали и, визжа, покатались по проходу. Кто-то попытался прекратить схватку, кто-то оттолкнул миротворца. И через несколько минут дралась

вся публика. Все били всех — знакомых и незнакомых, лилась кровь, сыпались выбитые зубы. Сцена напоминала дурной сон: словно это были не почтенные интеллигенты, а обезумевшие пьяные подростки.

Человек, описавший это событие, не принял участия в драке. Он стоял в уголке, не верил своим глазам и вдруг... И вдруг поймал себя на мысли, что страстно завидует дерущимся. Он дрожал, сжимал кулаки и жаждал крови.

Это звучит как анекдот. На самом деле это ст; ашно. Люди уже не могут выдержать гнили и тоски брежневского мертвого сезона. Они задыхаются. И это удушье распространяется по стране, для которой, по определению, нет ни эллина, ни иудея. В этих условиях — в случае серьезного кризиса «на верхах» — люди могут пойти за любым аятоллой. И тогда — да поможет нам Бог...



ДИАЛОГ

От Редакции. — Вадим Белоцерковский известен как главный редактор и один из авторов сборника «Демократические альтернативы». В последнее время он работает над циклом очерков особой формы — диалоги. Он задает идеологам различных направлений и политическим деятелям развернутые вопросы, иногда спорит с ними и стремится выявить их точку зрения на те проблемы, которым они посвятили свою жизнь. Подобный диалог, ("путем взаимной переписки") ему удалось провести недавно с Милованом Джиласом — единственным, пожалуй, в мире человеком особенно широкого и двойного опыта: до 1954 года Джилас был руководителем коммунистического государства, вице-президентом Югославии, а последние двадцать пять лет выступает как ее первый диссидент, независимо рассматривая самые острые проблемы восточно-европейской современности, за что он и поплатился годами тюрьмы. Вадим Белоцерковский попросил Джиласа высказаться по ряду актуальных вопросов.

Белоцерковский. Среди советских диссидентов многие отвергают возможность какой-либо демократической эволюции в КПСС и всего режима в целом, — даже и под воздействием кризиса экономики, давления правозащитного движения и т. д. Иные не верят, в частности, и в искренний демократизм чехословацких коммунистов 68-го года. Некоторые считают, например, что чехословацкие верхи тогда хотели лишь канализировать демократическое движение вниз, с тем, чтобы сохранить власть. Согласно этой точке зрения, они и сами бы в будущем сделали то же, что поторопились сделать советские войска в августе 68-го. Многие же, включая Сахарова, Орлова, Турчина, полагают, что демократизация КПСС в принципе возможна под влиянием развития сознания всего общества в демократическую сторону. Есть также мнение — оно высказывается в сборнике «СССР — Демократические альтернативы», — что ко всему

еще необходим толчок — возмущение широких слоев народа, наподобие возмущения рабочих в Польше.

Вы имеете опыт участия в руководстве коммунистической партии, и потому Ваше мнение особенно интересно.

Джилас. Теоретически в любой компартии возможно появление более или менее демократических течений. Это относится и к КПСС. В компартиях и раньше появлялись демократические течения и отдельные личности, искренне выступавшие за демократизацию. Это наблюдалось и в КП СССР вплоть до того времени, когда Сталин, утверждая свою личную политическую и идеологическую диктатуру, истребил и уничтожил в партии все „враждебные” слои и все „чуждые” взгляды. С тех пор в советской компартии нет демократических течений. Причины этого глубоки и носят, очевидно, долгосрочный характер. Сталинская тирания была чем-то большим, чем просто жестокой личной тиранией. А именно, она привела к созданию привилегированного имперского партийно-бюрократического слоя, который заинтересован лишь в сохранении своей абсолютной власти и отвергает любые перемены, особенно идеологические новшества. Это показывает и пример Хрущева, который пал прежде, чем попытался выйти из традиционных рамок. И хотя я допускаю появление демократических тенденций, я не верю в возможность демократического преобразования собственно коммунизма как такового, даже в масштабах одной, отдельно взятой компартии.

Коммунизм по своей идеологии, целям и по образу действий — недемократичен, авторитарен. Даже в тех компартиях, где проявляются демократические тенденции (в Испании, в Италии), они наталкиваются на непримиримое и непрекращающееся сопротивление „сталинистов”.

Коммунизм в разных странах падет по различным причинам: от загнивания в результате долгого существования или возмущения масс, или переворотов, совершенных „либеральными группами”, или от реформ партийных самодержцев. И все это при условии, что не будет войны. Условий менее вероятно в отношениях между коммунистическими странами, нежели между странами коммунистическими и капиталистическими.

На мой взгляд, перемены в советской системе менее

всего возможны. Хотя бы в силу того обстоятельства, что она более других пронизана, можно сказать, империалистически-классовыми привилегиями. Я думаю, что советская система не имеет внутренних потенций к изменению, так же как и советский империализм не способен сам по себе остановиться. Теоретически единственная возможность перемены внутри советской системы — это создание какой-то формы просвещенного самодержавия, которое могло бы начать с реформ, но и в этом случае процесс демократизации может быть задушен бюрократическим надзором. Однако и для появления такого просвещенного самодержавия необходим какой-то национальный кризис: военный или революционный, или то и другое вместе. Такая перспектива, как можно заметить, согласуется с русской историей. Любой коммунизм, в том числе и советский, наиболее сильный, приспособливается к национальным условиям. Но указанное направление трансформации, я бы сказал, соответствует и природе самого коммунизма вообще — движения абсолютистского и доктринального.

Слабость „Пражской весны“, хотя это может показаться абсурдом, заключалась в том, что в Чехословакии не было смелого, если хотите, самодержавного вождя или руководства. Там много говорилось о демократизации и гуманизации, но ничего серьезного не было предпринято для защиты независимости страны, при которой только и могла бы демократизация получить реальную почву. Известно, что в чехословацком руководстве существовали различные тенденции. Дубчек имел добрые намерения, но был нерешительным и колебался. Кригель и Шик, несомненно, были демократами, Смирковский и Млынарж также имели благие намерения, но они всегда как-то останавливались на полпути. А кроме того, было много колеблющихся и просто советских агентов. „Коммунизм с человеческим лицом“, как чешский, так и любой другой, — одна из коммунистических утопий. Часто забывают, что чехословацкие коммунисты никогда не дошли до основных форм демократии: под разными предлогами они сопротивлялись возрождению социалистической партии, не говоря уж о других, о „буржуазных“ партиях.

Белоцерковский. — Среди советских диссидентов существует также взгляд, что либерализацию и демократизацию на-

чнут в КПСС прагматики и технократы. И начнут не из идейных соображений, а из личных интересов, ради приобщения к западным благам, — и интересов функциональных: эффективного исполнения своих обязанностей, чему сейчас мешает рутинная система сверхцентрализации. Такую точку зрения развивает, к примеру, Александр Янов. Он считает, что прагматики из высшего партийного руководства, хозяйственные руководители и связанные с народным хозяйством ученые рано или поздно придут к осознанию своих интересов, как-то объединятся и составят политическую силу в стране. Они скорее всего не будут иметь целью установление полной демократии, но они процесс демократизации — начнут. И перспективы этого процесса будут зависеть уже от того, сумеет ли демократическая интеллигенция стать „критическим союзником” этих прагматиков, сможет ли она помогать им в постепенной повседневной работе, не мешая им своим радикализмом. Что Вы думаете по этому поводу?

Джилас. Я не думаю, что перемены могут быть начаты технократами. Технократы, а лучше скажем, технократы и менеджеры, хотя и представляют собой очень важный и необходимый в современном промышленном обществе слой, но по своей природе и положению они не склонны к организованным и политическим действиям. Партийные реформаторы могут опираться на них, но должны при этом руководить.

Белоцерковский. Предположим, что такие скрытые сторонники демократических реформ уже имеются сегодня в высших партийных кругах. Что мешает им проявить себя? В сборнике „Демократические альтернативы”, например, излагается мнение, что их останавливает, пугает или будет пугать, когда они приблизятся к кормилу власти, во-первых, страх перед народом, который слишком озлоблен, голоден — в широком смысле этого слова, — и не подготовлен к демократии, к правовым порядкам и плюрализму. А во-вторых, что, может быть, еще важнее, их останавливает страх перед своими коллегами по руководству, особенно второго уровня: руководителями обкомов, горкомов, военно-промышленного комплекса, КГБ. Эти руководители функционально больше всех заинтересованы в сильной и авторитарной центральной власти, как гарантии их сохранения в своих

вотчинах. В случае демократизации им труднее всего было бы сохранить власть. И они, составляя большинство в ЦК КПСС, имеют теперь, в отличие от сталинских времен, решающий в кризисных ситуациях голос. Они помогли свергнуть Хрущева, и их именно могут больше всего бояться потенциальные реформаторы из высшего руководства, из Политбюро и аппарата ЦК. Как Вы расцениваете такие расчеты?

Джилас. Руководители, которые будут выступать за реформы, не имеют оснований бояться народа: народ „прощает” прошлое зло, если кто-то, „покаявшись”, делает что-то доброе. Но, действительно, любой реформатор в Советском Союзе должен очень опасаться своих „товарищей”. В такой замкнутой идеологизированной среде, как советская компартия, где все проверяются и все за всеми следят, трудно, почти невозможно что-то задумать и еще труднее что-то предпринять в направлении перемен. Для этого необходима определенная ситуация кризиса, ситуация смертельной опасности, которая вводит в растерянность бдительных и хитрых догматиков в руководстве партии.

Белоцерковский. Чехословацкие реформаторы считали и считают, что демократизацию надо начинать одновременно во всех областях, — в политической, государственной, экономической и т. д. Среди советских же диссидентов существует мнение, что в СССР необходимо сначала психологически подготовить общество к демократии, правопорядку и плюрализму. Через борьбу за права человека, — без каких-то конкретных политических и экономических программ реформ, без массовых действий и организаций. Иными словами, надо вести борьбу или работу на высоком культурном и духовном уровне, содействуя переходу от дополитического нынешнего состояния советского общества к политическому. К состоянию, когда развитие демократического сознания и первые шаги в сторону либерализации позволят перейти к политическим действиям с программами реформ и активностью широких слоев общества. Как видится Вам бытование оппозиции в сегодняшних условиях?

Джилас. Я не верю в возможность создания и деятельности нелегальных партий в Советском Союзе, особенно построенных на идеологической основе. Но национальные движе-

ния угнетенных народов — неистребимы. Они будут постоянно обновляться и внезапно вспыхивать в периоды кризисов. Однако это не означает, что не играет важной роли и деятельность правозащитных групп и героических одиночек, хотя в данный период они, пожалуй, не могут ничего изменить реально. Но они ослабляют монолитность режима, создают более свободную атмосферу. Жертвенностью они свидетельствуют о своей духовной неистребимости. Они — как трагический залог будущего, каких бывало много в истории, и больше всего, возможно, в России. Мне представляются имеющими больше шансов на успех полулегальные формы борьбы, если они, конечно, еще возможны в СССР. Но когда я говорю: полулегальные, я думаю о таких формах, которые можно защищать перед мировой общественностью и которые может одобрять общественность данной коммунистической страны, в частности, в СССР, хотя кто-то, может быть, и не согласится с целями этой деятельности. Иными словами, — когда полулегальная деятельность использует законные возможности и „гуманистические” декларации вождей страны. Демократия при коммунистических режимах может существовать только в зачатке; вопрос в том, брошено ли семя?

Белоцерковский. Что Вы думаете о распространении в определенных кругах советско-русского общества настроений или — движения, называющего себя национально-религиозным и направленного к утверждению в России клерикально-авторитарного строя? Сторонники этого направления, во главе с Солженицыным, считают, что оно должно победить, так как оно отражает специфический характер и путь русского народа, имеющего за собой многовековую историю, стержнем которой являются православие и авторитаризм. Считают, что все остальные пути развития не подходят для русского народа и что только это движение представляет реальную альтернативу коммунизму, который чужд русскому духу и привнесен с Запада. Правозащитное же движение, как, например, вновь недавно сказал Солженицын в интервью Би-Би-Си, не учитывает этой специфики русской истории и толкает народ к новому Февралю, который обернется новой трагедией. К тому же правозащитники, по мне-

нию Солженицына, рассчитывают на помощь Запада, которую Запад оказать не может, так как сам находится в смертельном кризисе и разложении. Ваше мнение об этом комплексе вопросов? В частности, что Выдумаете и чем объясняете не только резко критическое, но и апокалиптическое представление о судьбе западной цивилизации?

Джилас. Для меня бесспорно, что православие — одна из реальностей русской жизни, хотя я и не знаю, насколько оно сейчас распространено и активно. Я, между прочим, не верю в отмирание религии. Да и что есть, а что не есть религия? Однако объединение религии и политики, то есть клерикально-авторитарный порядок, сегодня может иметь лишь катастрофические последствия, как для религии, так и для политики. То, что существовало на протяжении веков, не обязательно должно существовать и впредь. Петр Великий и Ленин продемонстрировали последствия объединения религии и политики, или идеологии в качестве религии. Я могу допустить, что Россия снова станет православной, но я не верю, что православие могло бы руководить русским государством и русской политикой. И что выиграла бы Россия, что выиграл бы мир от замены одного авторитарного режима другим?

Россия имеет — и какая нация не имеет — свою специфику, свой путь развития. Но формы будущего и то, какой облик примет свобода, нельзя предвидеть. Возьмем, конкретно, — свободно избираемые институты, законы, свободу совести, свободу личности и слова. В них достаточно простора для специфических, национальных черт. Разве Франция и Япония одинаковы, хотя та и другая — демократические страны?

Да, Запад переживает кризис. Кризис переживает и коммунизм, особенно в области идеологии и экономики. Но нет оснований считать, что тот или другой мир стоят перед апокалиптической пропастью. И Запад, и Восток будут жить. Многие, в частности, и в России, уже 150 лет — кто начал первым? — говорят о загнивании и гибели Запада. Но демократический строй может до известной степени терпеть загнивание. Это в его природе. Без такого „загнивания” или брожения нет ни свободы, ни омоложения. В различных же апока-

липтических видениях путают кризис отдельных форм, экономических и социальных, с кризисом сознания и методов. Но методы и сознание на Западе не переживают кризиса, по крайней мере, катастрофического. Экономика также не стоит перед угрозой катастрофы, — по крайней мере, в обозримом будущем. Быть может, это кризис приспособления к электронной революции в технике и к недавним пертурбациям на мировом рынке. Но я не могу судить об этом с полной уверенностью, так как недостаточно в этом компетентен.

Мне кажется странным замеченное мною наследственное злорадство некоторых русских оппозиционеров по поводу кризиса на Западе. Разве их собственная страна не достаточно страдает, не достаточно больна, чтобы они не задумывались более всего о ее исцелении? Пророчества ни к чему не обязывают. Пророчество — это слабость, в лучшем случае — утешение. Назовите мне пророчество, которое бы сбылось? А Достоевский, могут сказать, разве не предсказал русской революции? Да, конечно. Но кто ее не предвидел? Ее предвидел и Маркс. Русская революция тлела целое столетие, и только слепые могли этого не видеть. Современные русские оппозиционеры слишком много заботятся о судьбе мира и слишком мало о жизни в России. Может быть, это их национальная черта? Но мы, иностранцы, не можем просто так соглашаться с их пророчествами. Точно такую же позицию мы должны занять и по отношению к православному авторитаризму. Особенно к тому, что он явно презирает демократов и всех атеистов не считает за людей.

Я стараюсь мирно спорить и мирно провести старость. Но я люблю свою страну и считаю любой авторитаризм неприемлемым ни для себя, ни для своей страны. Я знаю по собственному опыту: чем сильнее власть, которая руководствуется любым „самым передовым учением“ на правах истинной веры, тем слабее человек и тем сильнее ущемляется человеческое достоинство.

Белоцерковский. Среди некоторых инакомыслящих в СССР существует мнение, что русское авторитарно-националистическое и религиозное направление среди диссидентов может быть использовано, в случае острого кризиса, так называемыми национал-большевиками в КПСС в их борьбе за власть

и ради установления откровенно националистического режима. Как Вы относитесь к такой перспективе?

Джилас. Я думаю, что „национал-большевизм” уже у власти. Он утвердился при Сталине как идеологически-военный империализм, поскольку в СССР он и не мог бы быть другим. Если бы этого не было, то югославы, а за ними и другие, не имели бы причин взбунтоваться. Советский национал-коммунизм имеет свой особый облик: форсирует русификацию, а формально признает равноправие; усиливает русский элемент в партии и государстве, но в то же время дает отпор шовинистическим и даже великорусским излишествам и экстремизму. Русский элемент форсируется, но — ради усиления всесоветской партбюрократии. Это — приспособление к национально-великодержавным традициям, к националистическому подсознанию, но это и сохранение своей многонационально-партийной империи.

Виноваты ли в этом русские, или виноваты ли они более других? Я не знаю, чего больше — шовинистического или догматического мракобесия в обвинении целой нации? Виноваты те, которые угнетают; те, которые извлекают пользу из угнетения, не важно кого. Русские — это народ, который в новой истории, быть может, больше всех страдал. Но это не дает русским никакого особенного права по отношению к другим народам. Права и страдания — вещи разные! А кроме того, есть и такие народы, которые страдали не меньше русских, а может быть, будут страдать и больше. Если русские оппозиционеры хотят, чтобы другие их любили и помогали бы им, они должны понять, что русские не лучше, чем другие. А мы знаем, что они и не хуже, чем другие.

Православный авторитаризм навязывает русским „моральные” запреты и идеологические догмы. Навязывает неправославным народам России Православие и Священную Империю. Отличную от советской, но все-таки Империю. И нет реальных шансов, что она будет миролюбивой и не склонной расширяться, используя меч религии.



ЛИТЕРАТУРА
И ИСКУССТВО

Игорь Померанцев

« Я НА ЗЕМЛЕ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ... »

В нем все классично, даже год рождения и год смерти — букварны: 1890 — 1960.

Его стихи вошли в нашу плоть и кровь — и потому ветер, ливень, полночь, поэты цитируют их без кавычек. Его стихи живут вне его книг и типографий. Его образы, мотивы, ритмы, настроения — неотвязны.

Одна, в пальто осеннем,
Без шляпы, без калош,
Ты борешься с волнением
И мокрый снег жуешь.

Стучат. Кто там? — Мария. —
Отворишь дверь: — Кто там? —
Ответа нет. Живые
Не так приходят к нам.

Вторая строфа принадлежит А. Тарковскому. Вот еще два отрывка, первый из Пастернака, второй — из Тарковского.

Я просыпаюсь. Я объят
Открывшимся. Я на учете.
Я на земле, где вы живете
И ваши тополя кипят.
Льет дождь. Да будет так же свят,
Как их невинная лавина...
Но я уж сплю наполовину,
Как только в раннем детстве спят.

И:

Как сорок лет тому назад,
Я вымок под дождем, я что-то
Забыл, мне что-то говорят,
Я виноват, тебя простят,
И поезд в десять пятьдесят
Выходит из-за поворота.

Эти стихи переплелись струями дождя, рифмами, строками, по которым движешься, как по серпантину.

Пастернак присутствует в чужих стихах исподволь, ибо он определил образ поэтического мышления современников.

Был полон лес мерцанием кропотливым,
Как под щипцами у часовщика.
(« В лесу »)

...Сверчки и стрекозы, как часики тикали.
(« Марбург »)

У Тарковского стихотворение « Кузнечики » начинается так :

Тикают ходики, ветер горячий...

У В. Соколова есть строчки :

Лишь часы моросят,
Да кузнечики...

Помните пастернаковское ?

Тротуар в буграх. Меж снеговых развилин
Вмерзшие бутылки голых черных льдин.
Булки фонарей, и на трубе, как филин,
Потонувший в перьях нелюдимый дым.

Вот строфа из Соколова :

Мне издали ты кажешься иной.
Стоят сугробы маленькой стеной.
А фонари так пышно разодеты
У булочной и у твоих дверей.
Мне хорошо. Уже давно поэты
Не говорят о булках фонарей.

Чтобы с такой легкостью и естественностью вспомнить в стихах образ другого поэта, нужно не просто хорошо знать поэзию, но породниться с ней, жить в его мире, как в своем.

Л. Григорьян начинает стихотворение :

Люблю твоих семь пятниц на неделе ...

так и хочется продолжить :

И в них твоих измен горящую струю.

Еще за сорок лет до строк Д. Самойлова, ставших уже хрестоматийными,

Я маленький, горло в ангине.
За окнами падает снег —

Пастернак обронил :

... В поля, где впотьмах еще, перепела
Пылали, как горло в ангине...

А. Кушнер завершает свой « Лавр » :

... И ветвь безжизненно упала,
И море плещется устало,
Никто не помнит ничего.

Помните финал пастернаковской « Вакханалии » :

Забыты шутки и проделки.
На кухне вымыты тарелки.
Никто не помнит ничего.

А вот и прямое признание Кушнера :

И этот прыгающий шаг
Стиха живого
Тебя смущает, как пиджак
С плеча чужого.

Известный, в сущности, наряд,
Чужая мета :
У Пастернака, вроде, взят,
А им — у Фета.

А может, вовсе не у Фета, и вообще не у литературы, а у музыки?

Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, роцц, могил
В свои этюды.

Нет, все же и у Фета.

Спи — еще зарею
Холодно и рано...

От этих фетовских строк рукой подать до

Спи, царица Спарты,
Рано еще, сыро еще.

«Образованность — школа быстрейших ассоциаций».

«Цитата не есть выписка. Цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна. Вцепившись в воздух, она его не отпускает...» — Это слова нашего другого гения, которому мало было писать стихи едва ли не лучше всех, но который — и это уже без едва ли — лучше всех писал и о стихах.

У Пастернака не книги, а цикадники. Вслушайтесь, как стрекочет в них мировая культура. Есть вздорное мнение о том, что знания, начитанность чуть ли не вредны поэту, ибо заслоняют его от собственно жизни, лишают непосредственности восприятия. Что правда, то правда: еще ни одного среднего поэта образованность не сделала великим, еще никому не удалось энциклопедическими знаниями, ученостью, компенсировать отсутствующий талант. Но не было пока ни одного талантливой поэта, которому образованность повредила бы. Подобное противопоставление природы и культуры насильственно. Поэзия изначально чувственна. Пастернак — великий чувственник. Чувственность интеллектуала — предмет поэзии, не желающий поступаться ширию и глубиной. Культура поэта проявляется не только в обилии ссылок, аллюзий, реминисценций, цикад, но и в остроте сенсуальной. Пастернак образован в мандельштамовском смысле этого слова — не иначе как с отличием кончил школу быстрейших ассоциаций.

Анализ текста — нравственный долг литературоведа.

Давайте читать вместе. Вот первая строфа стихотворения из книги «Сестра моя — жизнь», впервые изданной в 1922 году:

Давай ронять слова,
Как сад — янтарь и цедру;
Рассеянно и щедро,
Едва, едва, едва.

Значения слов «щедро» и «едва» — прямо противоположны. Но Пастернак работает не значениями слов, а словами. «Едва, едва, едва» — здесь вовсе не помалу, но сами листья, янтарь, цедра. Видите, от стихотворения, как от сентябрьского дерева, отделилось три желтых листа? Этим листьям кружить, покуда жив наш язык.

Стихотворение 1914 года «Метель».

В посаде, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожей да вьюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Где и то, как убитые, спят снега, —

Постой, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, лишь ворожей
Да вьюги ступала нога, до окна
Дохлестнулся обрывок шальной шлеи.

Ни зги не видать...

и т. д.

Заметили, вьюга, как белошвейка, отстрочивающая и перемещающая кромку холстины, сдвинула, сбила первую строчку, и во второй строфе под рифму, как под иголку, попадает уже «ни одна», а не «нога»? Заметили, на две строфы — ни одной точки? Зато есть нервущаяся строка-шлея, вьющаяся, заплетающаяся, змеящаяся, петляющая. Ни минуты продыху ни ей, ни нам. В общем, метель. В общем, ни зги не видать.

Стихотворение «Ветер», написанное в 1953 году.

Я кончился, а ты жива.

(Не верьте этому «я кончился». Сейчас начнутся стихи — нет, уже начались, — на которых мы совершим кругосветное путешествие, чтобы всем и вся раструбить, расщептать,

размолчать — о любви)

И ветер, жалуясь и плача,

(Вторая строка — трещина в тишине)

Раскачивает лес и дачу.

(Выход на волю, на воздух; те, двое, остаются в маленькой зыбке, раскачиваемые большим ветром)

Не каждую сосну отдельно,
А полностью все дерева
Со всею далью беспредельной,

(Уже не только двое, дача, лес, но все пространство дышит любовью)

Как парусников кузова
На глади бухты корабельной.

(Полшара позади)

И это не из удалства
Или из ярости бесцельной,

(Виден родной берег, слезы застилают глаза)

А чтоб в тоске найти слова
Тебе для песни колыбельной.

(Кровля сомкнулась над головами; тишь).

Слово «любовь» не упомянуто вовсе. Не пришлось ни с чем ее сравнивать, не понадобилось раздуть ее до астрономических размеров. Одно из самых трогательных стихотворений русской любовной лирики держится на синтаксисе, то есть на пунктуационно оформленном дыхании.

Помимо значения, слово имеет звучание, окраску, вес, запах, протяженность во времени и пространстве. Любимой царскосельский школьник знал законы стихосложения и умел ими пользоваться. Разговоры о высоком профессиональном уровне современной русской поэзии — чепуха на постном масле. Профессионализм проявляется в фактурной свободе поэта, в его власти над языковой тканью. Нынешняя поэзия наша знает слово, мягко говоря, недостаточно. Она имеет понятие лишь о значении слова, а не о самом слове. Это следствие низкой культуры, общей, про-

фессиональной, чувственной. Мы пережили национальную трагедию. Культура грунтуется веками. Лев Толстой, Бунин, А. Белый — не просто самородки, всплески природы. Ф. Достоевский, устами одного из своих самых роковых героев — Версилова, говорил о том, что в России веками создавался еще нигде не виданный высший культурный тип. «Нас, может быть, всего только тысяча человек — может, более, может, менее, — но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу. Скажут — мало, вознегодуют, что на тысячу человек истрачено столько веков и столько миллионов народу. По-моему, не мало». Эта самая тысяча — гарантия непрерывного развития национальной культуры. Мы пережили трагедию: эту самую тысячу частью уничтожили физически, частью вынудили покинуть страну. Русские — огромный народ. Он способен к регенерации. Гений — незаменим. Его утрата — это утрата навсегда. Но можно взрастить другого гения. Язык нельзя сжечь. Какой-то срок можно замалчивать, утаивать литературу. Но уничтожить ее в наше время — невозможно. Язык и литература — источники нашего духовного возрождения. Бывают времена, когда талант и профессиональная состоятельность поэта сливаются с таким понятием, как гражданский долг. Мы живем именно в такое время. Книги Пастернака — гражданский подвиг поэта.

Чему учиться у художника? Макбет накануне гибели выкрикивает: «The world is a tale, told by an idiot, full of sound and fury» («Мир — это рассказы идиота, полные шума и ярости»). Шум — это сжимающаяся вокруг нас, леденящая жилы, враждебная нам астральная мгла и стынь. Ярость — это наши хрупкие, но теплые и дышащие тела, это наши маленькие, как каштаны, но пульсирующие и работающие сердца. Постижению шума и ярости и должно учиться у великого поэта тем, кто берется за перо, и всем тем, для кого жизнь не род занятий, а призвание. Мне кажется, у Пастернака была такая же тяга к Шекспиру, как и у Шекспира к Пастернаку. Шекспир знал: не напиши он сам строк:

Страна неузнаваема. Она

Уже не мать нам, но могила наша.

Улыбку встретишь только у блажных.

К слезам привыкли, их не замечают.
К мельканью частых ужасов и бурь
Относятся, как к рядовым явлениям.
Весь день звонят по ком-то, но никто
Не любопытствует, кого хоронят.
Здоровьяки хиреют на глазах
Скорей, чем вянут их цветы на шляпах,
И умирают даже не болев,

— это сделал бы Пастернак. Занимаясь в Университете, я хотел написать пьесу «Юность Гамлета» с оглядкой на май 1968 года. На втором курсе куратор моей группы сказала: «Это ваши лучшие годы. Вы будете вспоминать о них всю жизнь!» Должно быть, нигде так явственно не ощущается бездуховность, как в Университете, ибо именно там ее не должно быть. Я и впрямь хочу, но не могу забыть эти серые — и потому кажущиеся отсыревшими — стены, эти мглистые коридорные закоулки, забитые трясущимися над конспектами студентами на одно лицо, этот сиротский воздух аудиторий, пропахший тряпкой для стирания мела, эту унижительную экзаменационную процедуру, бесконечную до одури. Мы сбегали с лекций в университетскую библиотеку, на фильмы Вайды или Висконти, в пивную по улице 28-го июня. На третьем курсе я просто переселился в Библиотеку. Ночевал в одном из бесчисленных ящичков, наполовину заполненном карточками, в комнате, где помещался каталог. Шуршал заказами, шелестел страницами. Вынюхивал гениальные воспоминания А. Белого. Дрожал над надежными, как мебель, довоенными томами Пруста. Там было еще несколько ребят — на весь Университет, на весь наш город. Они тоже жили в Библиотеке. Тоже вечером прятались в ящички. Мы сталкивались ночью между стеллажами, насупленные, бормочущие, кто с фонариком, кто с шахтерской лампой, похожей на намордник. У нас был пароль: «"Интернациональная литература", 35-ый год!» Кому надо, поймет наш пароль. Кто провел хоть одну ночь в узком ящичке, кто смог вогнать свое гигантское тело в пыльное, изъеденное шашелем квадратное гнездо, чтобы потом при свете фонаря «летучая мышь» сходила с ума и умирать от счастья над строкой поэта, тот поймет наш пароль. Да, Джойс! Да, «Улисс»! Пьеса «Юность Гамлета»

должна была быть стремительной, искрящейся, как студенческая жизнь, которая не получилась у меня. Впрочем, пьеса тоже не получилась...

Для Пастернака метафора — не троп, не оборот речи, не стилистический прием, но образ мышления. Он не прячет своих первоисточников, ни библейских (в романе он приводит слова Магдалины: «Отпусти мою вину, как я распускаю волосы»), ни фольклорных (ворожба солдатки Кубарихи, тоже из романа: «И я тебе в тот столб снеговой, в тот снеговорот нож залупну, вгону нож в снег по самый черенок, и весь красный в крови из снега выну»). Не этим ли ножом орудовали в «Метели», написанной еще в 1914 году?

Дыра полыньи, и мерещится в музыке
Пурги: — Колиньи, мы узнали твой адрес!
Секиры и крики: — Вы узнаны, узники
Уюта! — и по двери мелом — крест-накрест.

В 1917 году в стихотворении «Осень» Пастернак называл стрекоз пунцовыми. Спустя сорок лет в «Стогах» по-прежнему «снуют пунцовые стрекозы». Это не однообразие или усталость, а последовательность, стремление к непреложности. Впрочем, какая уж там усталость. Вот упругие, без всякой одышки, свежие и энергичные стихи поэта, которому уже под семьдесят:

О, женщина, твой вид и взгляд
Ничуть меня в тупик не ставят.
Ты вся — как горла перехват,
Когда его волненье сдавит.

Или:

Сколько надо отваги,
Чтоб играть на века,
Как играют овраги,
Как играет река,
Как играют алмазы,
Как играет вино,
Как играть без отказа
Иногда суждено.

Пастернак и Мандельштам — два полюса новой рус-

ской поэзии. Пастернак — полюс высоты. Мандельштам — полюс глубины. Пастернак пытался обнять весь мир, все мироздание. Мандельштам пытался вместить весь мир в себе. Слова «высь», «небо» — одни из самых частотных у Пастернака. Почти все его стихи живут под открытым небом. Чувство высоты, тяга в высь — биологически, генетически присущи человеку. По-видимому, возникновение и существование религии во многом обусловлено этим чувством. Пастернак возвышает быт до священнодействия. «Отдельная человеческая жизнь стала Божьей повестью, наполнила своим содержанием пространство вселенной.». Но Бог у Пастернака двадцатых-тридцатых годов чаще всего присутствует в облике стихийных явлений, он растворен в воздухе. Если он и появляется во плоти, то это молодой и крепкий Бог — демиург.

Так играл пред землей молодою
Одаренный один режиссер,
Что носился как дух над водою
И ребро сокрушенное тер.

И, протискавшись в мир из-за дисков
Наобум размещенных светил,
За дрожащую руку артистку
На дебют роковой выводил.

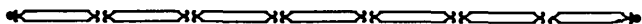
(«Мейерхольдам», 1928 год)

В пятидесятых годах Бог у Пастернака все чаще появляется в облике Иисуса Христа. Поэт размышляет и пишет о нем без околичностей. «И вот в завал этой мраморной и золотой безвкусицы /имеется в виду Римская империя — И. П./ пришел этот легкий и одетый в сияние, подчеркнуто человеческий, намеренно провинциальный, галилейский, и с этой минуты народы и боги прекратились и начался человек — пахарь, человек — пастух в стаде овец на заходе солнца, человек, ни капельки не звучащий гордо, человек, благодарно разнесенный по всем колыбельным песням матерей и по всем картинным галереям мира». Готическому порыву мешала барочная оснастка. Пастернак пытался избавиться от нее. К счастью, у него это редко получалось. Знаменитые строки

Во всем мне хочется дойти
До самой сути

никакого отношения к поэзии не имеют. Поэзия в этом стихотворении начинается строфой ниже, она — в гонке однородных членов предложения, в каком-то горловом присутствии поэта, в строчечном слаломе.

Не любить гения — безнравственно. Все мои друзья любят Пастернака.



НАДО ПОМОЧЬ

Поэт Геннадий Николаевич Айги, живущий в Москве, до сих пор не издан на русском языке. Существует малодоступное учебное университетское издание (W. Kazack, Arbeiten und Texte zur Slavistik, München, 1975), с весьма ограниченным количеством стихотворений.

Теперь появилась возможность издать двухтомник произведений Айги, в который войдут стихотворения до 1979 года. Стоимость такого издания 30000 франков. Друзья Геннадия Айги решили собрать эту сумму. Они обращаются к Вам с просьбой принять участие в издании запрещенного поэта. Самая скромная сумма явится вкладом в это благое предприятие, ибо она послужит тому, чтобы сохранить достояние русской культуры. Это издание позволит исправить большую несправедливость в литературной судьбе замечательного мастера, поэта Геннадия Айги.

Пожертвования можно отправить по адресу:

Véronique Lossky
3, rue Saint Louis-en-l'Isle, 75004 Paris
Compte bancaire: BRED 611 01 7003.

Андрей Синявский

ОДИН ДЕНЬ С ПАСТЕРНАКОМ

Я видел Пастернака по-настоящему один раз и провел с ним, задавая вопросы, разговаривая, несколько часов, показавшиеся мне одним полным днем. В самом конце 57-го года Борис Леонидович пригласил меня к себе в Переделкино. Поводом послужила моя статья о поэзии Пастернака, предназначавшаяся вначале для трехтомной *Истории советской литературы*, которая подготавливалась институтом, где я тогда работал. Написав статью, я был в ней не уверен; я сомневался, насколько мне удалось войти в поэтический мир Пастернака, насколько я угадал его образ. Я шел непосредственно от поэтических текстов Пастернака — и не знал, правильно ли я их понимаю по сравнению с авторским замыслом. Серьезной исследовательской литературы на эту тему не имелось, а критические статьи, появлявшиеся изредка на протяжении всей его жизни, носили большей частью именно критический в дурном смысле, то есть проработочный или погромный характер. Но вот в короткое время оттепели, после XX-го съезда, появилась возможность издать о Пастернаке более объективную работу, и я за нее схватился, хотя шансов на опубликование было очень мало. Мои сомнения в себе кончились тем, что,

Выступление на коллоквиуме в Серизи (Франция).

еще никому не показывая статьи, я решился послать ее по почте на суд самому Пастернаку. К моему удивлению, к моей глубокой радости, очень скоро пришел ответ Бориса Леонидовича, весьма для меня лестный, а в письме — предложение как-нибудь приехать к нему в гости в Переделкино.

Встреча с Пастернаком, помимо человеческой, сентиментальной стороны дела и личного события в моей жизни, была для меня проверкой некоторых мыслей, наблюдений над его стихами и попыткой что-то выяснить, уточнить в его поэтическом облике. Поэтому и сейчас, здесь, я не стану касаться бытовых и портретных подробностей и делиться моими впечатлениями, переживаниями, которые сопутствовали этой встрече. Мне хочется сосредоточить внимание на содержании высказываний самого Пастернака, связанных с его пониманием собственного пути. То был его рассказ в ответ на мои расспросы, либо в ходе разговора Борис Леонидович, увлекаясь, сам переходил к какой-нибудь новой теме.

Я спросил по поводу даты написания книги *Сестра моя — жизнь*, насколько она, эта дата, вынесенная на титульный лист, — «Лето 1917 года» — действительна и актуальна для этой книги, или же она носит скорее условный и формальный характер. Я не берусь воспроизводить, имитировать прямую речь Бориса Леонидовича. Но когда он заговорил о *Сестре моей — жизни* и о времени ее написания, само объяснение его, которое лучше назвать словоизлиянием, внезапно приобрело тот захлебывающийся, восторженный строй, каким проникнута эта книга. Он словно торопился пересказать ни с чем не сравнимое состояние души и мира, какое им тогда овладело, передать «световой ливень», по слову Марины Цветаевой, который вдруг обрушился на него летом 17-го года. Потому и датировка книги так дорога Пастернаку, содержательна, принципиальна — как время и место встречи с чудом, его посетившим, от него не зависевшим, дарованным и пролившимся свыше. Это чудо, это событие своей жизни, может быть, единствен-

ное по интенсивности, по мощной широте вдохновения, Пастернак тогда, в разговоре со мною, лучше и ближе всего выразил одной строчкой своего стихотворения «Стрижи», которую он несколько раз, упиваясь, прочитал:

Нет сил никаких у вечерних стрижей
Сдержать...

Что сдержать — уже не важно. Важно, что нет никаких сил сдержать этот напор духа и языка.

Нет сил никаких у вечерних стрижей
Сдержать... —

— в этом, надо думать, и состояло главное приобретение жизни его и поэзии в лето 17-го года. Стихотворение «Стрижи» вошло, как известно, в более ранний сборник Пастернака — *Поверх барьеров*. Но для объяснения *Сестры моей — жизни* он воспользовался строчкой оттуда, сопровождая чтение косым, перечеркивающим движением руки. Казалось, ему хочется еще и еще раз окунуться в эту движущуюся воздушную среду, в эту стихию переполненной собственным вдохновением речи. По-видимому, «Стрижи» своей витийственной окрыленностью и тем, что слышалось и колебалось за этими летающими стихами, подводили его и подходили к книге *Сестра моя — жизнь*.

— Я вам больше скажу! — продолжал Пастернак настаивать на исключительности пережитого момента летом 17-го года. — Я многое, тогда же написанное, не включил в *Сестру мою — жизнь*. Мне хотелось, чтобы книга была — легкой!..

Это «легкой!» прозвучало как продолжение той же легкости полета, какую он только что наслаждался вместе со своими «Стрижами». И Пастернак досказал, что в свое время, испытав этот невероятный обвал поэзии, он постарался всячески от него разгрузить книгу *Сестра моя — жизнь*, для чего многое вынул, отложил до срока и уже потом собрал в книге *Темы и вариации*. Таким образом, *Темы и вариации* в сознании автора это как бы отходы, остатки *Сестры моей — жизни*, в ней не уместившиеся, из нее извлеченные — ради легкости и цельности этой единственной книги.

То, с каким молодым жаром Пастернак поминал *Сестру мою – жизнь*, как тогда мне послышалось, противоречило его же настоятельным, сделанным печатно и устно заверениям, что он не любит свои стихи до 40-го года и готов расстаться с тем, что было им раньше написано. Невзирая на все перемены и переоценки, книга *Сестра моя – жизнь* и все, что с нею связано, по какому-то тайному, внутреннему счету продолжали сохранять для него (и в этом я убедился по его теперешней речи о ней) значение вершинное и ключевое.

И вместе с тем очевидна также внутренняя, органическая необходимость этих отрицаний, направленных по адресу своего прошлого. В частности, в разговоре Пастернак довольно скептически отзывался о своем поэтическом творчестве и возможностях поэзии вообще в настоящий момент, а также на ближайшее время. Сочинение стихов он как будто почитал для себя уже не очень важным и не обязательным занятием, которое принципиально ничего не меняет ни в его нынешнем развитии, ни в атмосфере эпохи. Он допускал, правда, исключения для нескольких новых стихотворений, на которые я, споря с ним, ссылался. Например, он соглашался признать исключительную значимость стихотворения «В больнице». Но в целом поэзия была для Пастернака как бы уже пройденным этапом. Ну еще несколько – пускай первоклассных – строф он и написал бы: какая разница?! По всему было заметно, что Пастернак тогда, на перевале 57-го – 58-го года, находился под обаянием, под властью, недавно оконченного и отосланного за границу романа, который рисовался ему завершающим делом жизни, притом делом актуальным и перспективным. Для поэзии он не видел теперь больших перспектив. Но этот переход от стихов к прозе был для него не просто стилистической или собственно литературной закономерностью. В каком-то смысле это был для него выход за рамки литературы вообще и, главное, выход за сложившиеся стереотипы мышления. Как бы откидывая и свою, и всяческую поэзию в прошлое, он сказал, что сейчас вообще

наступило время, может быть, «писать не руками, а ногами». Он так в точности и выразился: «не руками, а ногами». Пытаясь уточнить, я переспросил: — Жизнью? Писать — жизнью? — Он неохотно согласился: — Да, жизнью. Ногами! Настало время писать не руками, а ногами!

Было видно, что ему по душе не отвлеченно-безличная формула — «писать жизнью», а более конкретное и вместе с тем экспрессивное, утрированное, сдвинутое определение — «писать ногами». Ведь в каком-то широком смысле сам Пастернак всегда, если вспомнить его язык и манеру выражения, и вообще его подход к задачам искусства, писал не руками, а ногами...

От нынешнего времени, перевалившего с падением Сталина за середину века, Пастернак много ждал и смотрел на будущее оптимистически. И он от души радовался самым скромным приметам нового времени, нового климата в умственной жизни России. Радовался, например, напечатанному тогда рассказу Яшина «Рычаги», произведению довольно посредственному, но интересному как свидетельство наступившего потепления, начавшейся переоценки ценностей. Радикальные перемены в сознании и в обществе были для Пастернака делом завтрашнего дня, процессом необратимым и всесторонним. Но самым первым в этом процессе представлялось ему высвобождение из-под формы идеологии, причем, прежде всего, не от самой идеологии даже, сколько от ее ограниченности, формализма, от ее осточертевшей, навязшей в зубах фразы. Неизбежность перемен диктовалась простой, хотя, может быть, несколько детской логикой, которая понятна всем нам: «Сколько можно повторять одно и то же?! Ну сколько можно?! Надоело! Невмоготу! Невпроворот!» По этой логике закон мертвой буквы должен уступить уже по одному тому, что он мертв, бессодержателен даже для самих законодателей, правителей, по одному тому, что душа человеческая больше не выносит этих бесконечных, потерявших смысл заклинаний.

Но исторический оптимизм Пастернака, рассчитанный

на длительный период и на медленный, неуклонный процесс, не мешал ему весьма трезво оценивать сегодняшнюю ситуацию, касавшуюся в первую очередь его собственного положения в советской литературе. Так, он очень определенно высказался (и не ошибся), что моя статья о нем в том виде, как она написана, не может быть сейчас напечатана: не пропустят. Среди поэтов-современников, к которым он испытывает дружескую симпатию и пользуется взаимностью, Пастернак назвал Заболоцкого и Леонида Мартынова — имена, разумеется, как теперь мы видим, не сопоставимые. И тут же грустно добавил, что при всем том они достаточно далеки от него и в решительную минуту рассчитывать на их помощь, конечно же, не приходится. А кто-то, может быть, испугается, предаст. Мы знаем, очень скоро Леонид Мартынов окажется в числе тех, кто яростно, с пеной на губах, требовал изгнания Пастернака...

Чувствовалось, что Пастернак живет уже в ожидании бури, а может быть и расплаты за роман *Доктор Живаго*. Хотя роман к этому времени уже появился на Западе, официально о нем молчали, как если бы ничего не произошло. До присуждения Пастернаку Нобелевской премии у нас в печати делали вид, что никакого романа вообще не существует. Однако предпринимались уже кое-какие заходы. Два сановника из партийно-литературного руководства (то ли высокие гости из народной демократии — я уже не помню) жаловались и пеняли Пастернаку, что его роман вызывает нежелательный шум на Западе и автору следовало бы как-то от этого шума отмежеваться и притушить его, что ли. На что Пастернак ответил: — вы сами мастера по части шума! Чего ж вам бояться? — предоставив восточной прессе, без его участия, шуметь и препираться с Западом.

Но над тревожными настроениями, когда Пастернак касался романа *Доктор Живаго*, преобладало чувство внутреннего подъема, которое он испытывал в итоге исполненного долга и замысла всей жизни. Он рассказал, смеясь (хоть и была в его смехе легкая нотка печали и какой-то иронии к себе), что получил недавно письмо от одной иностранной

знакомой, удивительное письмо, доставившее ему громадную радость. В письме говорилось, что он сам не подозревает, какое дело он сделал своим романом, и это дело идет в гору и будет доведено до конца без его старания (имелись в виду необыкновенный успех и резонанс, приобретаемые романом на Западе), так что сам Пастернак может теперь — и умирать.

За *Доктором Живаго* Пастернак ощущал безусловно огромную нравственную силу и влияние, силу преобразующую, входящую как бы в воздух современной эпохи. И вместе с тем и творческий, писательский облик Пастернака, и все, о чем и как он говорил, были начисто лишены учительности. Когда на вопросы о *Докторе Живаго*, который я только что прочитал, я позволил себе заметить, что это и роман, и одновременно некий, по кардинальным проблемам, философский трактат, он, явно отталкиваясь от жанра трактата, сказал, что избранная форма романа привлекла его именно необязательностью, ненавязчивостью формы в высказывании каких-то идей. Очевидно, даже в самых заветных взглядах и мыслях, рассчитанных причем на непосредственное идейное воздействие, он стремился сохранить ту раскованность и свободу выражения, которые и в читателе, в любом человеке, предполагают как будто ответную свободу, широту и веротерпимость. Пастернак вообще, если можно так выразиться, не держался за форму. Также и за форму высказанных им самим положений. Поэтому и его беседа носила не характер ответов на вопросы или изложения какой-то программы, занятой твердо позиции, но скорее текучего, живого думания вслух. В его словах не было окончательности раз и навсегда принятого решения, а было много, я бы сказал, допуска в понимании вещей, была возможность разных подходов и трактовок.

Помнится, я выразил недоумение по части его давнего печатного высказывания, что весь послереволюционный Маяковский для него не существует и находится вне поля его слуха. Неужели даже поэма Маяковского «Про это» — не доходит до Пастернака? И он охотно отозвался, что,

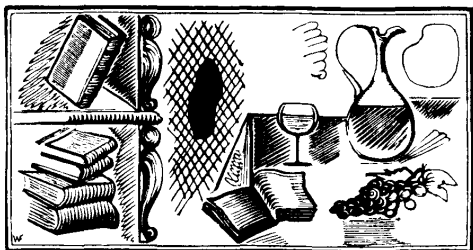
может быть, был и не прав в такой оценке и ему следовало бы сейчас перечитать Маяковского, чтобы услышать его по-новому. И не только «Про это», но и такие всем известные, школьные вещи, как «Хорошо!». Что же до поэмы «Про это», то в ней в свое время он уловил известную подражательность, какое-то влияние своей собственной поэтики. Строки: «Не молод очень лад баллад. Но если слова болят...» и т. д. звучали, показалось ему, по-пастернаковски. А этому он не мог попустительствовать у Маяковского именно потому, что высоко его ценил, превыше всех современников. Кому-нибудь, может быть, и прошло бы, но — не Маяковскому: слишком велик и слишком любим. То есть не раздор с Маяковским, а преклонение перед его ранней гениальностью заставило столь пристрастно отнестись к его позднему творчеству. Впрочем, повторил он, сейчас он должен многое перечитать, пересмотреть...

Свобода от формы у Пастернака особенно бросалась в глаза и принимала образ символа веры, когда он говорил об истории и современности. Касаясь, допустим, условий в скором русском будущем духовно-религиозного пробуждения, он сказал, что главное здесь не спорить между собою по каким-то формальным вопросам и признакам, а найти более общее и широкое понимание. Он очень смеялся, когда я ему рассказал об одном моем московском знакомом, любителе и большом знатоке пастернаковских стихов, либерале западного толка, который почитал религиозные стихи из романа *Доктор Живаго* просто прекрасной литературной стилизацией и никак не мог допустить, чтобы поэт, Пастернак, такой интеллигентный и тонкий автор, на самом деле, буквально веровал в Бога, словно глупые старухи. Для него, моего приятеля, представление, что Бога нет, являлось аксиомой, известной с детства всякому современному человеку. — А что Бог — он с бородой? — спрашивал либеральный приятель, ужасаясь от мысли, что Пастернак, сам Пастернак, мог думать и писать о Боге, о Христе вполне серьезно.

— Это — пройдет! Это — пройдет! — повторял, смеясь,

Пастернак, будто речь шла о какой-нибудь вздорной детской болезни.

И заговорил о Христе, идущем к нам оттуда, из далекой истории, как если бы эти дали были сегодняшним днем и так же прозрачно, как сегодняшний день вечерели, склоняясь в необозримое завтра. В словах Пастернака, мне показалось, не было и тени апокалиптических ожиданий. Христос приходил сегодня, потому что вся новая история начиналась с Христа и с Евангелия, включая и нынешний день, и Христос был самой естественной и самой близкой действительностью. Разгороженности на века, на народы, на церкви для Пастернака не существовало. Он и здесь мыслил и видел как бы «поверх барьеров». История с ее прошлым, настоящим и будущим была как бы полем, единым полем, пространством, расстилавшимся перед глазами. Поглядывая в окошко, на заснеженные поля и пригорки, Пастернак говорил о Христе, который идет к нам оттуда, говорил без аффектации, без торжественного, благолепного пафоса, просто и спокойно, словно «там» и «оттуда» было прилежавшим к его дому соседним участком со всей уходящей вдаль панорамой покрытых снегом полей. Это и была та степень одухотворенности и свободы, для которой, кажется, сама смерть только форма, старая форма, за которую не стоит слишком цепко держаться...



ПРОСТРАНСТВО КНИГИ

В искусстве XX века особое развитие получила идея постигаемого пространства. «Рисовать в пространстве», пользуясь им как строительным материалом, не столько изображать, сколько «создавать видимое», — стало страстью. Вождем новейших течений нарекается Сезанн, отец «структурной живописи», одержимый маниакальным вниманием к формообразующим спазмам и потягиваниям бытия. Со всех сторон звучат голоса во славу архитектурного принципа. «Настал час строителей», — провозглашает Бурдель.

Архитектура и скульптура атаковали поле холста. Словесность, театр заручились пространственными масштабами. Понятия «структуры», «устройства», «модели» проникают в гуманитарные знания. Двадцатое столетие шествует под знаком реконструкции. Разрушая, планируя, строя, оно ставит акцент на способах организации пространства и материала.

В художественном брожении начала века эти процессы носили по большей части характер неудержимой экспансии. В ходу были крайности, тотальные программы. «— Дайте нам новые формы! — несется вопль по вещам». Футуризм, кубизм, конструктивизм предъявляют ультиматум прекрасному — склониться перед железной геометрией современности.

Попутно новые вкусы братаются с архаикой. Обратная перспектива, диспропорция, утрировка, гиперболиза-

ция и схематизация образа, свойственные средневековью, отдаленным культурам Востока, Африки, Америки, попали в фокус научных и эстетических интересов. Активизация пространства открыла доступ к запасам невиданных, немислимых пластических образований. Варварский истукан оказался вдруг притягательнее изнеженного Бельведерского щеголя. «Аполлон умер! Да здравствует Аполлон кривочерный!»

Красочная магма коробилась, лезла из рамы, угрожала и грезилась вулканическим взрывом. Деформация вещи с целью извлечения сокрытых в ней измерений оканчивалась потерей лица. Из обломков возникали чудовища, полузвери-полумашины, предлагавшие себя в зеркала обескураженному человеку. Беспредметники, в утверждении формы подходя к ее отрицанию, осваивали ремесло, бросались в производство. Чистая композиция сменялась утилитарным дизайном. Эстеты и фантасты мастерили велосипед. Воздвигалась Вавилонская башня индустриальной цивилизации.

На этом фоне мастерская В. А. Фаворского выглядела одиноко. Усидчивый, сосредоточенный труд, вдали от бурных дискуссий, отданный сравнительно узкой специальности — ксилографии, ретроспективному, с антикварным уклоном, искусству книги казался застрахованным от подобных метаморфоз. До сих пор, поминая те опасные времена, исследователи не нарадуются: «После того, что происходило в искусстве в начале XX века, творчество Фаворского производит впечатление спасительной пристани».

Между тем этот отшельник, как подчас, особенно на первых порах, аттестовала его молва, дерзостью своих построений был способен поспорить с реформаторами самого радикального толка. Его далеко идущие опыты и открытия, позволяющие соотносить творчество Фаворского даже с такими крайними именами, как, скажем, Татлин или Малевич, не сводились к техническим новшествам, но касались основ искусства и лежали в русле структурно-пространственных интересов.

Внешне, в манере и технике исполнения, он мог работать традиционно. Пространство в его понимании нечто более глубокое, чем просто «форма». По существу оно у Фаворского насыщено мыслью, сопряжено с атмосферой и духом произведения; вот почему собственно формальная сторона не всегда у него отмечена поразительной оригинальностью, скрытой в идее и внутреннем строе его вещей. Духовность, концептуальность в подходе к задаче пространства, из разряда композиционных проблем переросшей едва ли не в методологию творчества, выделяли Фаворского среди современных течений и сообщали его частным, на первый взгляд, начинаниям общезначимый, принципиальный характер.

К какому бы стилю не обращался Фаворский, какую бы форму ни избирал, пространственное истолкование темы всегда оставалось главным предметом его забот. Пространством он мыслил и мерил, отображал и пересоздавал бытие, представленное неизменно в виде конструктивной постройки. Известна реплика Фаворского по поводу его карандашных двойных портретов (выполненных, кстати сказать, в традиционной манере психологического реализма, не содержащей видимых отклонений от обычной, повсеместно принятой техники): *«Два человека в портрете – это не один плюс второй, а что-то совсем новое, что не принадлежит ни тому, ни другому человеку. Вероятно, это пространство, которое возникает между ними со всем своим эмоциональным содержанием».*

Пространство в подобной трактовке – во всем духовном объеме, *«со всем своим эмоциональным содержанием»* – и было стихией Фаворского. Стоило ему приложить силы в новой, еще не знакомой области, как и там обнаруживалась вскоре господствующая над его устремлениями пространственная проблема, которую он брался решать, выступая в своем излюбленном амплуа **х у д о ж н и к а - п р о с т р а н с т в е н н и к а** (как предпочитал он себя называть, пользуясь термином, более других отвечающим его вкусам и замыслам) – будь то графика, монументаль-

ная фреска или театральная декорация. *«Меня поразила пустая сцена своим простором и конкретностью своего пространства, – вспоминал Фаворский о своем приходе в театр. – Во всей работе я пытался сохранить эти черты, стараясь декорациями только измерить и оформить пространство».*

Дар и пафос пространственника, естественно, наиболее полно и совершенно проявились в книжной гравюре – в основной специальности и сфере его многолетних трудов. Роль Фаворского, роль зачинателя, поднявшего оформление книги на уровень современных эстетических запросов и достижений большого искусства и добившегося в этом жанре поразительных результатов, определялась новым подходом к самой задаче графика-иллюстратора. Применительно к нему было бы правильнее говорить о деятельности архитектора книги, увидевшего в ней пространственную форму, предназначенную для воплощения публикуемого литературного текста. Фаворский строит книгу по образу и подобию дома, в котором произведение, в сущности, не оформляется, но обитает со всеми удобствами, претворенное в новое качество, в художественное и конструктивное целое читаемой и бытующей в обществе вещи. Поэтому так возрастает функциональная сторона каждой детали – переплета, форзаца, титула, заставки, концовки, шрифта, – обеспечивающей существование книги в ее пластическом образе. Она для Фаворского микрокосм, соотнесенный с целой вселенной, но в то же время руководимый собственными законами, обладающий самостоятельной ценностью, соприкасающийся и разграниченный с внешней, житейской средой. Иллюстрация взаимодействует не только с текстом (похож или не похож на Гамлета прилагаемый образец?), но в первую очередь с помещением, где этот текст расположен, с его, текста, осязаемым телом, эмпирическим бытием. Автор верен реальной природе прежде всего не в подражании ее отдельным видимым формам, но в устройении миропорядка в пределах книги как единого здания. Аналогии элементов книги с вестибюлем, дверью, интерьером, воздухом и т. д., характерные

для теоретических рассуждений Фаворского (на основе личного опыта разработавшего, можно сказать, философию искусства книги), подчеркивает этот преобладающий в его графике архитектурный подход. Присмотримся, как острожно и всесторонне расшифровывает Фаворский содержание книги и принимается ее перелистывать, обживать и заселять, с каким замедленным, проникновенным вниманием разворачивает он ее перед нами как требующую поминутных оглядок, остановок и поворотов жилплощадь, в двойном значении каждой «двери», что служит входом и выходом, удерживает нас и ведет дальше.

«Трудно передать то особое чувство, которое испытываешь, держа в руках книгу в художественном переплете, удовлетворяющем и зрение, и осязание, и, раскрывая его, входить уже внутрь книги. Осязать рукой и помнить зрительно форму переплета и уже погружаться в сложный пространственный мир страниц, дающий нам новый внутренний масштаб, по которому строится вся внутренность книги. Вдруг вещь, которую мы продолжаем держать в руках и ценить по качествам вещи, открывает нам внутри себя новые качества, характерные для пространства, населенного своими вещами, вещами книжного мира.

Это некое художественное „чудо“, переживаемое нами, вызывает в нас уважение к нашему бытовому пространству, в котором мы находимся вместе с книгой, в то же время требуя от нас как бы акта вхождения внутрь книги, вызывает уважение к ее внутреннему миру и как бы защищает его от легкомысленного столкновения с беспорядком быта».

Насколько все содержательно для него в этом процессе осмотра-застройки расстилающегося за переплетом пространства! Вхождение в книгу похоже на путешествие в страну чудес; через какую-то ничем не примечательную калитку, через рукав чей-нибудь шубы мы попадаем в совершенно особый, благоухающий сказками мир.

Так же значителен, исполнен скрытой, таинственной жизни медлительный процесс изготовления гравюры, как его истолковывает и преподносит Фаворский. Технология

здесь оборачивается онтологией творчества. Работу гравера над доской он сравнивает с искусством скульптора, извлекающего, освобождающего спрятанную в материале модель. Напрашивается и другое сравнение, пожалуй, не менее полно отвечающее идеалам художника, потребностям и тенденциям его творчества, — с техникой древнего иконописца, шедшего, как известно, путем постепенного высветления нижнего темного слоя. В ходе этой работы образ, по аналогии с миротворением, как бы сам собой выявлялся из тьмы небытия, рождался, круглился, рос и светлел на глазах изумленного мастера, создавая впечатление спонтанно возникающего, живущего в глубине доски и строящегося оттуда пространства. Похожее чувство переживает, по признанию Фаворского, гравер: *«Оттого, что доску покрываешь тушью, она получается довольно темная, и постепенно из этой темноты как бы вытаскиваешь все, что хочешь изобразить, и это очень интересно. темная доска позволяет как бы угадывать, что там, в темноте, каким способом идти дальше и дальше в глубь доски».*

Отчетливо конструктивное отношение Фаворского к книге сближало его с художниками-производственниками, на рубеже 20-х гг. приступившими к «деланию вещей». Его книга это тоже своего рода вещь (а не странички с картинками), существующая наравне с другими вещами, функционально оправданная, целесообразно построенная, предполагающая тесный контакт с бытом и производством. Дух инженерии, конструктивизма, утилитарности, ремесла, рационалистической ясности в осознании поставленной задачи — всего того, чем славен двадцатый век с его научно-техническими достижениями, интеллектуализмом, урбанизмом, — дает себя знать в произведениях Фаворского. Некоторые его работы, кажется, восприняли ритм и стиль индустриальной эпохи, приближаясь к точности математической формулы, прямоте и сдержанности информационной сводки.

Тем не менее Фаворский никак не укладывается в прокрустово ложе дизайнерства и производственничества, и, создавая книгу как полезную вещь, он ею же нарушает

невольно построения теоретиков и практиков конструктивного метода, сторонников индустриального стиля в современном искусстве. Рядом с его книгой самые разумные, искусно сработанные вещи бытового или технического назначения выглядят плоскими, холодными, однозначными, возможно, вполне законные и прекрасные в своих общественно-эстетических функциях, но бессильные конкурировать с ее одухотворенным пространством. Будучи равноправной вещью, книга помимо прочего живет еще наподобие «вещи в себе», имеющей неисчерпаемые внутренние ресурсы, и впускает в свои границы с тем, чтобы, по ней путешествуя, мы соприкоснулись с культурой в большом и высоком значении слова. Продвигаясь по анфиладе страниц, со множеством неожиданных встреч, пересечений и координаций, проникаешься атмосферой, далекой от производства и скорее напоминающей воздух бескрайних лесов, дивишься расширяющейся с каждым новым внимательным шагом и взглядом содержательности ландшафта, перед которым как будто сам автор немного робеет и удивляется чуду, произведенному им же самим.

Книга Фаворского в своих исходных моментах органична и вековечна; при всей конструктивности она более похожа на живое растение, нежели на промышленное изделие. Задумчивость, им владеющая, неторопливая обстоятельность, с какою он переворачивает ее листы, трепетное волнение вблизи любимого предмета, благочестивое уважение к своему ремеслу, истовая преданность значимой букве — все это, разумеется, плод давней и прочной традиции. За спиной Фаворского стоит опыт старинных переписчиков и книгочиев, наследие мастеров Возрождения и Средних Веков, витиеватая рассудительность восемнадцатого столетия, пушкинское содружество с Музами... В нем сызнова, на иной, современный лад, заявляют о себе изумление и первоначальная почтительность перед самым фактом существования книги, что заставляли когда-то украшать ее драгоценностями и обращать алфавит в орнамент, а против особенно важных и понравившихся фраз, в ка-

честве нотабене, рисовать указующий перст с торжественной подписью — з р и.

Творчество Фаворского как явление двадцатого века перекидывает мостик от новейших открытий в области изобразительного и нефигуративного искусства к уходящей в отдаленное прошлое художественной культуре. Этот смелый преобразователь в то же время, в своем понимании книги, безусловно традиционен и, если угодно, консервативен. Ибо в центре его внимания всегда находится так или иначе преследуемая цель — сберечь и восстановить книгу как целостный феномен, как синтез писательства, художества и ремесла. Больше, чем какой-либо другой современный график, он отвечает своим творчеством на вопрос: что такое книга и какой надлежит ей быть?

Согласно взглядам Фаворского искусство снимает маски с примелькавшихся, привычных вещей и возвращает им изначальную образность. В этом смысле его графика добивается того же эффекта, придавая книге художественное лицо, которое заставляет воспринимать ее обостренно, как увиденный впервые предмет в его элементарной форме. Знакомясь с работами Фаворского, мы словно наново постигаем первообраз книги.

В критике не раз отмечалось, что Фаворский возродил утраченное к началу нынешнего века искусство ксилографии. При этом обнаружилась близость деревянной гравюры и книги, как бы созданных друг для друга и в этом союзе зазвучавших слитно, с удвоенной силой. Оказалось, что гравюра на дереве с ее твердым, угловатым штрихом и скупой черно-белой гаммой отвечает духу печатного слова и буквенному рисунку, что этот штрих и шрифт перекликаются и образуют нечто единое на белом листе бумаги, проявляющей, в свою очередь, родственную восприимчивость к сырому голосу дерева, к его пластике и фактуре. Исходный материал выступает ярче, отчетливей во взаимодействии этих слагаемых целостного произведения, книги, и сама она, осознав себя в материале, предстает более выпукло — резко очерченной вещью. Словом, ксило-

графия помогает книге выявиться до конца, стать собою.

Искусство иллюстрации неизменно сталкивается с противоречием: словесный, поэтический образ отличен от изобразительной формы и в принципе непереволим на этот чужой язык. Иллюстрация в какой-то мере всегда нарушает единство читательского восприятия, поскольку навязывает зрительное истолкование произведению писателя. Фаворский до возможных пределов устраняет это противоречие благодаря тому, что переводит графический образ в общее с литературным словом русло: и тот и другое оказываются необходимыми компонентами книги и в этом новом качестве, на единой, книжной основе устанавливают между собою братские отношения. Иллюстрации не комментируют со стороны художественный текст, но вписываются в него на правах книжного знака. Они у Фаворского тяготеют в широком смысле к букве, служащей подчас истоком, завязью графического изображения. Эмблематический характер многих его иллюстраций, представляющих собою как бы герб литературного произведения, их равенство на шрифт, умение встать на одну ногу с набором ведут к тому, что книжное искусство Фаворского уподобляется рисуночному письму, пиктографии. Оно помнит, что буква тоже была когда-то рисунком, и изъясняется на близком ей языке специфической изобразительной письменности. Неслучайно так часто его гравюры кажутся ожившими буквами, и недаром Фаворский показал себя прежде всего несравненным мастером книжного знака, создателем разнообразной геральдики, посредством которой книга закрепляет себя в нашем сознании, отстаивает свои законы, права и границы. Но и печатный текст, рядом с его гравюрами, выросшими из буквы, становится как будто крепче, чернее, зернистее, набухает скрытой в нем жизнью. Начинается зрелище, развернутое целиком и полностью в книжном измерении, с участием личин и вещей особого, книжного мира.

Рассказывая о своей деятельности театрального декоратора, Фаворский отмечал, что стремился к двойному

существованию вещей на сцене. Ему хотелось, «*чтобы каждое изображение было простой сценической вещью – занавеска, кулисы, ширма, задник и т. п. Я стремился к тому, чтобы создавалась как бы образная метафора: занавес – дом, ширма – дерево и т. п.*».

Подобного рода изобразительными метафорами пользуется он и в книжной графике, где воспроизведенный предмет служит одновременно заставкой, концовкой, да и самостоятельная иллюстрация выполняется и размещается так, чтобы в нашем движении от страницы к странице не стать, по выражению художника, гирей, отягощающей сторонней аналогией восприятие литературного образа. Отсюда сдержанность и экономность Фаворского, его забота о том, чтобы вспомогательный иллюстративный материал не забивал текст и, потеряв связь с композицией книги, не превратился в препятствие, о которое спотыкается глаз читателя. Поэтому, в частности, он избегает слишком подробной внешней характеристики персонажей, чрезмерной детализации, натуральной перспективы, которая спорила бы с глубиной книги. Его фигуры обычно преувеличенно тверды, объемны, массивны и напоминают вырезанные из дерева скульптурные изображения. Деревянная природа гравюры заявляет о себе в полную силу, всякий раз давая понять, что мы находимся не в жизни, а в книге, и обуславливает сходство персонажей Фаворского с театром кукол. В этом виде они ближе всего к непосредственному, книжному окружению. Будучи действующими лицами публикуемых произведений, его герои не перестают в то же время восприниматься отвлеченными иероглифами, служить марионетками печатного текста, поддерживающими условный характер предлагаемого спектакля. В своем одеревенелом, гравированном состоянии, откровенно предьявленном зрителю, они живут интенсивной художественной жизнью, руководствуясь тем же расчетом, к которому прибегал Фаворский в создании театральных костюмов: «... *Основной принцип в costume – принцип „остранения“.* *Надо подать человеческую фигуру так, чтобы она во что бы*

то ни стало сделалась новой, острой, чувственно-раздражающей. Человек как бы превращается в вещь, поражающую своей сделанностью и элементарной чувственностью».

В свое время критика писала о «граверном кубизме» Фаворского, называла его «Сезанном современной ксилографии». Эти черты его стиля – утрированная объемность, нарочитый геометризм, стремление строить гравюру как многомерную, в нескольких планах раздвигающуюся проекцию, комбинацию нескольких срезов постигаемого бытия – удивительно остро дают почувствовать структуру книги и находят в ней подкрепление, новую мотивировку. Именно мир книги, спрессованный в стопку листов, ограниченный и растяжимый, чреватый множеством скрытых измерений и разворотов, становится умозрачительной и физической формой, на которую накладывается, совпадая с ней, будто скроенное по той же модели, пластическое пространство доски, обработанной таким образом, что мы ощущаем слоистую толщину древесины, материальную плотность, вещественность и при всем том почти иератическую отрешенность гравюры, возведенной к элементарному типографскому знаку.

В этом плане, можно заметить, деревянные актеры иллюстраций Фаворского широко соотносятся с книгой в разных ее аспектах и, кажется, олицетворяют ее существо. В них тоже, как в печатной странице, как в буквенном выражении, есть что-то отрешенное, отделенное от нас как будто незримой стеной, и вместе с тем живое, пронзительное; грация и вместе – гротеск; строгая обязательность контура, пуританская аккуратность и чопорность, спесивая важность, торжественность и снисходящая к примитиву, азбучная наивность, лубочный инфантилизм. Пунктуальность в подсчете книжного реквизита сочетается с капризной фантазией, педантизм граничит с иронией, здравый смысл с мистификацией.

Среди изобретений, которым графика Фаворского обязана своеобразием, первое место принадлежит безусловно печатному станку Гутенберга. Она передает и доно-

сит мыслимый образ, субстанцию печатного слова с его разнохарактерными историческими запахами-напластованиями (включая Реформацию, Лютера, Дон-Кихота и рыцарские романы, которыми тот зачитывался), с абракадабррой технических терминов-посредников («редактор», «корректор», «гранки», «верстка»), отделивших слово от языка и обеспечивших формирование книги в ее нынешнем виде, доступной каждому и неизмеримо выросшей в своем умственном влиянии и в то же время, несомненно, что-то потерявшей по сравнению с более ранними стадиями своего существования — в рукописной или устной традиции. Поднятое на постамент ясного типографского знака, слово многое приобрело и многое утратило, расставшись с художественной стихией живого исполнения и начертания. В книгопечатании как явлении цивилизации факторы отчуждения и преображения речи действуют, очевидно, сильнее, чем это было в прошлом, когда жизнь, уходя, сохраняла себя в предании, в песне или пряталась в подметных листах какого-нибудь Аввакума, так что словесное произведение стояло ближе к человеку, к его губам и руке, которая все эти буквы любовно выводила, стирая границы между писателем и издателем, как еще раньше стирались они между певцом и провидцем.

В древности величайшая мудрость предпочитала не фиксировать свои открытия, но «говорить устами к устам» — «чтобы радость ваша была полна» (Второе послание Иоанна, 12). Предание подчас ценилось выше письменного документа: «Ибо я полагал, что книжные сведения не столько принесут мне пользы, сколько живой и более внедряющий голос» (Папий). Архимед, согласно Плутарху, «был человеком такого возвышенного образа мыслей, такой глубины души и богатства познаний, что о вещах, доставивших ему славу ума не смертного, а божественного, не пожелал написать ничего...» Записанное слово, по-видимому, представлялось неким ограничением, уступкой несовершенному разуму, скорее полагавшемуся на мертвую букву, чем на живой дух. Оно выражало недоверие к истине, откры-

вавшейся лишь достойным и не боявшейся, что недостойные ее искасят и забудут: придет срок, и она снова откроется.

Уже письменная речь в таком повороте нечто застывшее, безжизненное, удаленное от первоисточника. Тем более печатное слово. Оно выглядит куда более холодным, стандартным, в своей стерильной исправности лишенное цветов и корней. Но те же черты — помимо практических доводов — делают его для нас притягательным. Типографский шрифт современному глазу кажется логичнее, авторитетнее. Печатная страница походит на официальный бланк; в ее бескрасочности и бесстрастии нам видится объективность и непреложность общепризнанных ценностей. Она вознесена над нами как некая ипостась нашего бытия, независимая от нас и в этой роковой независимости получившая какой-то новый магический смысл, преображенная настолько, что мы невольно забываем, что за ее черными полосами и белыми полями где-то далеко струится кровь. Поэтому иногда книга так ошарашивает неискущенного читателя. Тот обнаруживает вдруг, что ее одинаковые, ничем не примечательные нолики-черточки обладают сверхъестественной силой внушения.

«— Как все это премудро, Господи!.. Написал человек книгу... бумага и на ней точки разные — вот и все...

Его особенно поразили выплунутые Стенькой зубы...

— А ну-ка, покажи, где тут написано насчет зубов?.. Так и написано: «зубы свои выплунул с кровью»? А буквы те же самые, как и все другие... Господи! Как ему больно-то было, а?» (Горький, «Коновалов»).

Стиснутое в десь бумаги, интегрированное пространство разворачивается перед умственным взором панорамами эпох и народов. Механизм немом чтения внезапно перебивается ожившими голосами, мы проваливаемся в музыку, в дух, в рыканье и завыванье, но миг — и все исчезло, ничего нет, только буква, пустой знак на подставке.

Всю эту магию, это все и ничего печатного слова воспроизводит Фаворский. Его графика причастна к фокусам и метаморфозам набора, где внешне все жестко

и голо, все чинно и (никакой отсебятины!) объективно, и вдруг эта душная немота разодрана чревовещанием тающихся под типографской маской своенравных и грациозных созданий...

Сведенная к абстрактному оттиску, к геометрии шрифта и листа, отчужденная и удаленная от естественной речи, книга становится высшей инстанцией, к которой мы апеллируем и которая из своего далека протягивает руку помощи человеку, служит ему прибежищем, оправданием и доказательством и даже, случается, заменяет бессмертие (мы умрем, а книги останутся). Ее листы уже сходят за крылья Ангела, осеняющие наше спокойствие, надежды, воспоминания.

Книга перевернула историю не меньше, чем порох, пущенный в широкое пользование где-то рядом со станком Гутенберга и вместе с книгой положивший конец амбициям феодального замка и рыцарям, подвигами которых зачитывался еще Дон-Кихот, ревнитель старины, провозвестник новой эпохи, первый в истории книги неисправимый читатель, удостоившийся выйти в герои и сразить литературой действительность. Как трогателен, как любим всеми нами этот последний рыцарь Средних Веков, первый рыцарь Книги! Но представим на минуту не гонимого отовсюду насмешками и побоями, а признанного за истину, преуспевшего Дон-Кихота. Кому по-прежнему на каждом шагу мерещатся злые волшебники, страшные великаны, и кто рубит их направо-налево, калеча мирные мельницы, осыпанный цветами и рукоплесканиями. Сколько зла способен наделать распоясавшийся мечтатель, истребляющий жизнь во имя книги!..

А так — что с нее взять? — лежит себе на столе бесплодной коробкой, стоит послушно в шкафу, начиненная информацией, дидактикой, фантазией. Спящий джин в бутылке, бумажный тигр...

Не удивительно, что проблематика творчества Фаворского так часто опирается в магический реализм, к размышлению над которым под тем или иным предлогом он

не раз возвращался в статьях, словно питал к этой теме тайную слабость. «... *Всякое реальное изображение, – утверждает Фаворский, – как бы бьется о „магический реализм“ и находится на крайней точке, желая быть живым. Но оно все-таки не становится совсем живым.*»

Все же в его системе идей не всякое изображение равноценно и правомочно в претензии на искомую живость. В устойчивости запросов, которые он предлагает искусству на предмет выяснения его магической силы, сказываются не столько общетеоретические интересы Фаворского, сколько, надо думать, специфика книги и логика пространственника, которыми он привык оперировать в работе и рассуждениях. Достижимый различными средствами, в зависимости от стиля и эстетических воззрений эпохи, магический реализм, как преподан он в этих статьях, вместе с симпатией автора определенно склоняется в пользу внешне неподвижных и далеких от иллюзорности форм, способных, однако, вступать с человеком в пространственную интригу, вести с ним живую и увлекательную игру.

Внимание Фаворского в этой связи останавливают древние мифы об оживающих статуях, а также – детские игрушки, лишенные натуральности, ярко выраженной изобразительности, но обладающие для ребенка особым очарованием, – все эти, знакомые всем, прутики в роли коней, рогульки-коровы, куклы с отломанными конечностями и т. д.

«Что надо этим вещам, чтобы ожить? По-видимому, быть с ребенком в одном пространстве, участвовать с ним в игре, и, может быть, именно неподвижность этих вещей делает их в воображении особенно подвижными. Значит, для такого магического искусства характерно что? Прежде всего существование вещей в нашем пространстве, немение своего изобразительного пространства и поэтому неподвижность. Это все делает их похожими на архаических древнегреческих Аполлонов. Но они могли бы быть еще примитивнее.

Эти черты мы наблюдаем еще в египетском искусстве. Для него характерно, что статуя, оформленная снаружи, внутри оставалась неведомой. Она таинственно внутри себя имела сердце и все внутренности и была хранилищем души.

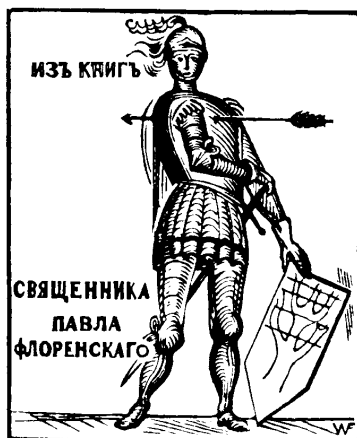
Как же это все воспринималось? Человек вчувствовал себя в эти изображения. Он вчувствовал себя в функцию, ставил себя на место этой вещи».

К ряду оживающих прутиков, кукол, древних идиолов мы рискнули бы прибавить — книгу. Больше, чем что-либо еще в нашем предметном мире, она хочет быть живой. В нее тоже можно играть, свободно перемещая в пространстве, где ей уготована роль отнюдь не безразличной, но наделенной пониманием вещи, завязывающей с нами близкие отношения. Подобно египетским статуям, архаическим Аполлонам, книга в иносказательном смысле является хранилищем духа, как, впрочем, и кукла, некогда исполнявшая далеко не детскую функцию физического сосуда для обитания усопших, невидимых помощников, демонов (служившая, в частности, временным, промежуточным телом при возвращении умершей души в новую оболочку ребенка), что отражалось на облике магических изваяний, у которых отсутствие внешней разработанной характеристики, примитивизм, неподвижность лишь подчеркивали содержательность и сокровенную емкость — вместилища.

На сходной двойственности черт, состояний и положений играет книга, замкнутая, непроницаемая и полная внутренней страсти, безобидная и коварная, уместающаяся в кармане и вместившая целый свет, уподобившаяся одновременно гробнице и воскресению из мертвых. Мы можем ее сунуть в портфель, спрятать под подушку, прижать к сердцу, швырнуть в угол и, повертев, поставить на полку в виде декорации, и в нашей власти в любое мгновение открыть ее и войти в другое, не наше пространство, отождествившись с телом, которое мы держим в руках, забыть о себе, перенестись в иную эпоху, личность и, опомнившись, вернуться назад, в родную среду, чтобы, склонив-

шись над книгой, мысленно перебирать увиденное, витая душой где-то на грани ее и нашего мира.

Какие только иллюзии, эмоции, ассоциации не порождает книга — не только в итоге чтения, но в ходе существования бок о бок с нами, по-разному дозируя свой букет и состав и создавая вокруг себя атмосферу повышенной душевной активности! Один взгляд на нее, прикосновение к переплету способны вызвать приливы энергии, необъяснимого счастья, сопровождаться сознанием внутренней правоты и свободы, в котором воображение мешается с пережитым и отзвуки прочитанных строк сливаются с воспоминаниями о том, как и когда мы испытали уже нечто подобное. В игре и общении с книгой, наполняющих нашу жизнь, она оказывается хранилищем не своего лишь, привнесенного из другого источника, но и нашего личного опыта, усвоенного ею за время совместных размышлений. Ну как ей не ожить, в самом деле, при таком разнообразии поводов, хитросплетении времен и пространств, по примеру кукол и статуй, чьи свойства, облекаясь в легенды, побуждают задуматься над возможностями искусства и прератностью форм в книге истории и природы?..



В РЕДАКЦИЮ «СИНТАКСИС»

Прочла во 2-ом номере Вашего журнала статью О.Дмитриева "Не называя имен". Большое спасибо вам, что напечатали. Вы даже не можете себе представить, какое большое удовольствие вы мне доставили. Ведь после стольких лет молчания у культурных русских людей начинают просыпаться признаки сознания, — что такое евреи и сколько зла они принесли и приносят миру. Это, правда, первые ласточки, но радость моя, что наконец-то русские пробуждаются от долгого кошмарного сна, безгранична.

О продолжении этой статьи А.Синявским "Называя имена", можно сказать, что слова Пушкина: "Ко мне постучался презренный еврей.." прямо относятся к автору этой статьи. Хоть он и предпочитает называть себя, как и Паустовский, русским, его принадлежность к еврейской национальности настолько очевидна, что все его попытки уверить в обратном совершенно бесполезны. Одна из причин представиться русским — это его защита социализма, и, чтобы не одни евреи защищали своего Маркса, он и решил отрекомендоваться русским. Говорят, и Амальрик тоже старается сменить личину — нашел якобы у себя признаки французской крови. И чего только эти евреи не придумают!

Отсюда у этих людей и ненависть к нашим уважаемым писателям и поэтам. Ну кто кроме еврея мог написать такой грязный пасквиль "Прогулки с Пушкиным"? Типичное еврейское нахальство — обвинять Пушкина в недостатке образования и нисколько не удивляться тому, что еврейский недоросль Бродский в каком-то колледже даже лекции читает — это *только* с семилетнейкой-то. Он видите ли — поэт! Но поэт-то он только в Вашем еврейском представлении.

Вот Вы сейчас проповедуете Маркса всюду, а советское правительство упрекает в государственном антисемитизме, только потому, что наконец-то настало время в СССР — перестать преклоняться перед людьми еврейской национальности и *сделать их жизнь такой*

В "Синтаксисе" (№2) было опубликовано интервью Олега Дмитриева ("Не называя имен") с одним антисемитом в России, из числа интеллектуалов, который захотел остаться неизвестным. Это интервью А.Синявский сопроводил своими критическими замечаниями ("Называя имена"), что вызвало бурный отклик, примером чего и служит настоящее письмо. Мы публикуем его полностью, позволив себе исправить лишь орфографические ошибки

же, какой живет весь русский народ. Вы – евреи, избалованные Советской властью (да собственно и до Октября вам было не так уж плохо – в процентном отношении евреев с высшим образованием было куда больше, чем неевреев), – вы встали в позу обиженных. Как же: ведь вы – нация, созданная повелевать, а не трудиться, как весь народ планеты. Вот вы и подняли вой, что вас угнетают! А знаете, Синявский, есть и другие евреи, отличные от Вас. Вот М.Хейфец в своих записках рассказывает об одном еврее, который считает, что евреи виноваты перед русским народом за все зло, которое принесла в Россию еврейская нация. К сожалению, таких евреев единицы. И Вы их предаете анафеме. Для Вас только тот настоящий еврей, который угнетает другие нации, иначе Вы себе жизнь еврея на земле не представляете.

Мы же, русские люди, хотим только одного – жить вдали от вас, избавиться от вашего гнета. И надеюсь, что в будущем эта мечта русского человека осуществится.

Несколько слов насчет захвата некоторых польских земель, – так в те времена (и Вам, надеюсь, это хорошо известно, ведь Вы же не Бродский с семилетним образованием) все страны занимались такими захватами, и Россия стояла как раз на последнем месте в этом отношении. И, собственно, какая разница, какой народ эксплуатировали евреи? И поляки тоже с большим бы удовольствием избавились от еврейского засилия. И что это за нация, приносящая только горе, но не имеющая ни капли самолюбия! Им много раз говорили, что с ними не хотят жить и даже били не раз, но они предпочитали лучше быть битыми, чем проявить гордость и начать самостоятельную жизнь. Уж больно вам хорошо сидеть на шее Ивана.

А насчет евреев, как нации, у русского народа нет к ней никакого антагонизма, и если евреи пожелают жить с русскими, не требуя никаких для себя привилегий, – это другой вопрос. Но едва ли найдутся такие евреи.

Да, еще хотела сказать о вашей бесконечной писанине о России. Ведь какой бы журнал ни взять – всюду ”евреи о России”. Просто тошно читать. Спать она, наша Россия, вам не дает.

Знаете, Синявский, когда вы, евреи, уезжаете из России, народ русский вздыхает с облегчением. Скатертью вам дорога! И чем скорее вы освободите Россию от своего присутствия, тем лучше, и самое главное – без возвращения назад.

Понадобилась вам же самими навязанная русскому народу революция, чтобы вы добровольно покинули нашу территорию. Сколь цари не пытались от вас избавиться, им это никак не удавалось. А вот теперь добровольно уезжаете. Спасибо вам большое за это, а также спасибо Советской власти, что она сумела от вас до-

биться того, чего никак не могли добиться проклинаемые вами русские цари.

Вот только почему вы никак не можете успокоиться? Ведь у вас сейчас есть и Израиль, и Франция (где Вы, например, успешно разлагаете французский народ), и Англия, и США... Да что там перечислять – весь мир у вас в руках, и все вам мало. Ненасытный же вы народ. Оставьте хоть бедным измученным русским людям ее Россию. Перестаньте ее терзать. Неужели у вас нет никаких больше интересов, кроме тех, что на разные лады – как всякие Амальрики, Эткинды и прочие, – облаивать нашу родину – Россию?

Р.Рожковская

R.Rozhkovski, 3873 Orloff av
ap. 6 f the Bronx, New York,
NY 10463, USA.



СОДЕРЖАНИЕ

От редакции 3

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Раиса Лерт. Поздний опыт 4
Григорий Померанц. Сон о справедливом возмездии . . . 13
Александр Янов. Дьявол меняет облик 88
Милован Джилас – Вадим Белоцерковский. Диалог . . 111

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Игорь Померанцев. "Я не земле, где вы живете..." . . . 120
Андрей Синявский. Один день с Пастернаком 131
М.Розанова. Пространство книги 140

НАША ПОЧТА. 157

На страницах 3, 87, 110, 139, 156, 159 – гравюры
В. А. Фаворского

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Цена номера 22 фр. франка.
Подписка в редакции на 4 номера – 70 фр. фр.
Пересылка за счет подписчика.

